Ровесник

9

1977



РОВЕСНИК

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Сентябрь, 1977 год, № 9

На первой странице обложки: чилийская певица, исполнительница песен протеста Изабель Парра. Этот снимок сделан во время Международного фестиваля политической песни в Берлине. По традиции каждый год звучат на сценах концертных залов и клубов столицы ГДР песни на многих языках мира, песни лирические, публицистические, сатирические и торжественные — песни, рожденные жизнью.

Принятие новой Конституции СССР — исторический вклад нашей страны и народа, поддерживающего борьбу трудящихся мира за свободу и прогресс.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. Здесь состоялась VII городская конференция Союза свободной немецкой молодежи Западного Берлина (ССНМ ЗБ). На конференции присутствовали делегации ВЛКСМ, братских союзов молодежи ГДР, Болгарии, Венгрии, ПНР, ФРГ, Дании, Австрии и др. Основными вопросами, обсужденными на конференции, были: борьба за социальные и политические права молодого поколения Западного Берлина, против безработицы, запретов на профессии, за разоружение, за превращение Западного Берлина на основе четырехстороннего соглашения в конструктивный элемент мира и разрядки.

КЕНТ (США, ОГАЙО). «Нас постигла одинаковая участь, хотя нас разделяли тысячи миль. И студенты — участники антивоенных выступлений в Кенте, и мы, воевавшие тогда во Вьетнаме, погибали по воле одного и того же американского правительства» — с такими словами Рон Ковик, инвалид войны во Вьетнаме, обратился к 3 тысячам студентов, которые собрались в Кентском университете, чтобы отметить годовщину расстрела студенческой демонстрации. Тогда, семь лет назад, четверо были убиты и девять тяжело ранены национальными гвардейцами. Один из тех девяти, Дин Калер, выступил на митинге.

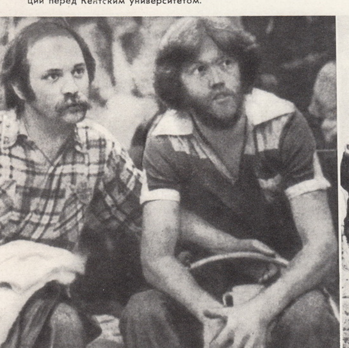
На снимке: Рон Ковик и Дин Калер во время манифестации перед Кентским университетом.

САН-ХОСЕ. По сообщению агентства Пренса Латина, студенты трех крупнейших университетов Коста-Рики провели манифестацию протеста против расхищения иностранными компаниями национальных богатств страны.

Федерация университетских студентов Коста-Рики потребовала от правительства проведения решительной политики в защиту природных ресурсов.

ВЬЕНТЬЯН. По данным статистики ООН 1971 года, Лаос был одной из 25 беднейших стран мира. Теперь, когда народ стал полноправным хозяином страны, все усилия направлены на то, чтобы преодолеть многовековую отсталость в экономической и культурной жизни. Несмотря на малый срок, прошедший со времени народной победы, новая жизнь прочно утвердилась по всей стране. Только в одной провинции Луангпрабанг вместо единственной начальной школы, имевшейся в 1975 году, сейчас 519 начальных школ, 14 колледжей, как здесь называют средние школы, и два лицея. Постепенно ликвидируется неграмотность среди взрослых.

На снимке: во время каникул учащиеся помогают убирать урожай.





ВАРШАВА. Недавно исполнился год со дня образования Союза социалистической польской молодежи — массовой организации, объединяющей в своих рядах юношей и девушек городов и сел республики. В настоящее время он насчитывает 2 миллиона 45 тысяч членов, входящих в состав 65 с лишним тысяч первичных организаций. За истекший год в ряды ССПМ принято более 356 тысяч новых членов.

Как передает агентство ПАП, 290 тысяч членов ССПМ — это члены и кандидаты в члены ПОРП. В 1976 году в ПОРП вступило более 64 тысяч представителей молодежной организации — рабочих промышленных предприятий, тружеников сельского хозяйства.

Молодежь активно участвует во всех областях хозяйственной и культурной жизни Польши. Она шефствует над 11,5 тысячи клубов, 13,5 тысячи красных уголков, 1,5 тысячи Домов культуры; 1,5 миллиарда злотых получены от внедрения изобретений и рационализаторских предложений молодых мастеров техники.

ГВАТЕМАЛА. «В нашей стране нет политических заключенных. В ней есть только расстрелянные и «исчезнувшие», — заявила Ассоциация университетских студентов Гватемалы в открытом письме Генеральному секретарю ООН К. Вальдхайму, распространенном в связи с проведением в Гватемале сессии Экономической комиссии ООН для Латинской Америки. В нем разоблачаются «многочисленные случаи преступных репрессий, жертвами которых становятся рабочие, крестьяне, студенты и народ в целом».

За последнее десятилетие террора и репрессий, говорится в письме, в Гватемале были убиты или «исчезли» свыше 30 тысяч человек. Картину официального насилия дополняют нищета, голод, болезни, неграмотность, безработица. Студенты заканчивают письмо призывом к ООН и, в частности, к ее Комиссии по правам человека провести расследование творимого в стране произвола.

БЕРЛИН. В Германской Демократической Республике ежегодно проводятся кампании солидарности с народами борющихся стран Азии, Африки, Латинской Америки. В этом году во время такой кампании, проходившей под девизом «Мир детям», было собрано 380 тысяч марок. Как сообщил председатель Комитета солидарности ГДР Курт Крюгер, на эти деньги куплены и отправлены учебники для детей бывших португальских колоний, медикаменты и новое оборудование для больниц Вьетнама, Лаоса и других государств. На деньги, собранные в прошлом году, 80 детей из лагерей палестинских беженцев, 50 из Анголы и Мозамбика имели возможность провести лето на озере Вербелинзее — в лучшем международном пионерском лагере страны.

На снимке: ученики одной из школ Берлина собирают макулатуру; средства пойдут в фонд солидарности.

ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕГРАФ



ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

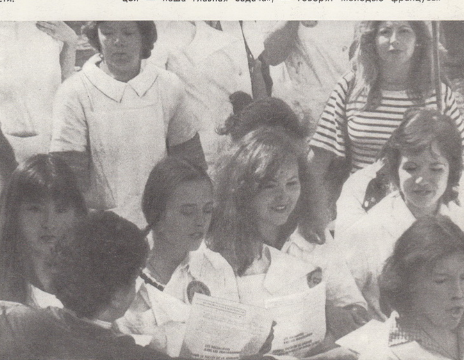
БЕЛГРАД. На средства, полученные из фонда имени Иосипа Броз Тито, предназначенного для обеспечения стипендиями молодых рабочих и детей из рабочих семей, в настоящее время учится 7651 студент. Членами фонда, созданного три года назад, являются более 220 тысяч организаций и отдельных лиц.

АДЕН. По инициативе Международного союза студентов и Всеобщего национального союза йеменских студентов (ГНУИС) в столице Народной Демократической Республики Йемен проводился международный семинар «Студенческая печать и информация на службе национальной и экономической независимости, развития и социального прогресса». В нем приняли участие представители 24 национальных студенческих организаций из стран Европы, в том числе Советского Союза, Латинской Америки, Азии и Африки, а также 5 международных и региональных организаций. В числе задач студенческой прессы, отмечалось на семинаре, — развитие социально-политического образования молодежи, формирование прогрессивного самосознания студенчества, защита прав учащейся молодежи. Участники семинара говорили об ответственности молодежной и студенческой печати в борьбе «против всех остатков и предрассудков «холодной войны», против всех форм антикоммунистической, антисоциалистической и антидемократической пропаганды, а также против злобных попыток оклеветать прогрессивные силы и режимы в различных частях мира».

ПАРИЖ. В рабочем предместье столицы Франции, городке Иври, два дня не утихали митинги и диспуты, звучали революционные марши. Здесь в этом году проводился седьмой праздник «Авангарда» — журнала Движения коммунистической молодежи Франции. Девиз нынешнего праздника — «Против безработицы, за право на труд!». 150 тысяч молодых со всех уголков Франции съехались сюда, чтобы продемонстрировать готовность бороться за свои законные права, встретиться со сверстниками из 47 стран, также принимавшими участие в фестивале. Только за два дня праздника членами ДКМФ стали 4035 молодых французов.

На снимке: «Единство действий в борьбе с безработицей — наша главная задача», — говорят молодые французы.





САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

Хосе Мигель ВАРАС, чилийский писатель, — для «Ровесника»



5 сентября чилийскому комсомолу — Коммунистической молодежи Чили — исполняется 45 лет. Пиночетовские палачи пытались вытравить из памяти молодых чилийцев даже самое слово «комсомолец»: уничтожить руководителей, запугать оставшихся в живых, парализовать самую способность к сопротивлению. Режим Пиночета пользуется поддержкой мировой реакции, она снабжает его долларами и автоматами. Но чилийский народ не поддается фашизации, а мужество и стойкость антифашистов, в том числе чилийских комсомольцев, привлекают в ряды борцов с хунтой все новые и новые силы. Об этой невидимой, но ежедневной, ежечасной борьбе рассказывает очерк чилийского писателя Хосе Мигеля Вараса. А на фотографиях вы видите молодежные выступления, в которых принимали участие и комсомольцы Чили, в поддержку борьбы всех демократических сил страны за свержение диктатуры Пиночета. Эти выступления состоялись в Милане, Лондоне, Кёльне. Как отмечал Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Корвалан, международная солидарность придает силы чилийским антифашистам, она спасла жизнь многим узникам хунты.

Мануэль Герреро был арестован на улице средь бела дня агентами пиночетовского гестапо ДИНА, избит, брошен в автомобиль и увезен неизвестно куда. На этом «дело» Мануэля Герреро могло бы и оборваться, как «дела» более двух с половиной тысяч мужчин и женщин, бесследно «исчезнувших» после ареста. Пиночетовские власти не признают факта их задержания, не сообщают об их местонахождении и судьбе. Кто-то, быть может, жив — перенес адские пытки и теперь заточен в одну из тайных тюрем, разбросанных по всей стране. Других замучили и захоронили где-то в пустынных, необитаемых местах. Иногда обезображенные трупы находят на побережье океана, на обочине дороги.

Но «дело» Мануэля Герреро — исключение. Потому что этот 28-летний учитель начальной школы, один из руководителей загнанной в подполье Коммунистической молодежи Чили, выстояв под пытками, в упорной борьбе добился освобождения.

Не так давно я встретился с ним здесь, в Москве. Ману-

эль — крепкий парень с коротко стриженными, слегка вьющимися волосами и с живыми темными глазами. Лишь бледность свидетельствует о перенесенных страданиях. Рассказывая, он заметно волнуется, энергично жестикулирует...

— Я вышел из дома 14 июня 1976 года вместе с женой, — говорит Мануэль. — Вдруг возле нас остановился автомобиль. Из него вышли какие-то типы в штатском и, не сказав ни слова, ни о чем не спросив, набросились с кулаками на меня и на жену. Моя жена была на шестом месяце беременности. Били в лицо, в голову, куда попало.

Спрашиваю, где это произошло.

— На улице Марии Элемены, коммуна Флориды, 25, в Сантьяго.

Перенесемся мысленно туда. Район небольших домиков с палисадниками километрах в четырнадцати к югу от центра Сантьяго, индустриальный район, где живет много рабочих. Мануэль обходит мелочи, спешит рассказать главное. Но я хочу знать как можно больше и поэтому перебиваю его и прошу его молодую жену Веронику, смуглую и худенькую, с длинными черными волосами, дополнить рассказ.

— Был понедельник, что-то около десяти утра, — воскрешает она малоприятные минуты. — Мы шли за сынишкой, которого оставили накануне в доме моей матери. Мануэль нес ранец с тетрадями и учебниками нашего сына, чтобы он прямо от мамы мог пойти в школу. И как раз гадали, кто у нас родится, мальчик или девочка, и как назовем ребенка. Вдруг сзади взвизгнули тормоза. Мануэль обернулся и инстинктивно подтолкнул меня к стене. Двое мужчин выскочили из автомобиля и бросились к нам, один с пистолетом. Оба сразу пустили в ход кулаки. Мужа несколько раз ударили по лицу и в живот. Досталось и мне, когда я кинулась к нему на помощь. Он отбивался и пытался требовать, чтобы ему объяснили, в чем дело. И тут я увидела, как один из бандитов наставил на Мануэля пистолет и хладнокровно выстрелил в упор с расстояния в каких-то пятнадцать сантиметров. Мануэль согнулся без звука. Они его сгребли и затолкнули в машину. Ранец сынишки, упавший на дорогу, они тоже швырнули в машину. Последнее, что я видела, это руки мужа, сжимавшие этот ранец. Дверцы автомобиля с силой захлопнулись, он рванул с места и на большой скорости умчался.

— Вначале, — продолжает рассказ Мануэль Герреро, — я не понял, что получил пулю. Только сверлила страшная боль в груди, от которой я скорчился в машине. Я успел увидеть и услышать, как Вероника закричала, призывая на помощь людей, которые в это время проходили по улице. Поэтому напавшие на нас быстро вскочили в машину, и она тут же тронулась. Мне заломили руки за спину, защелкнули наручники и натянули на лицо какую-то липкую тряпку.

Вероника:

— Все произошло в считанные секунды. У меня было такое чувство, будто вместе с Мануэлем из меня вырвали жизнь. Кричала я исступленно, до хрипоты: «Это убийцы из ДИНА... Помогите же! Это учитель, который учит читать ваших детей...» Не знаю, что еще, несвязное что-то кричала. Как сумасшедшая, кругами носилась возле одного и того же места, умоляла, чтобы кто-нибудь заступился. И так минут двадцать. У меня схватывало живот, и тогда мне казалось: все, погибнет малютка, не родившись на свет. Какой-то молодой человек подошел и сказал: «Вот очки вашего мужа». Я их стала целовать. Они были разбиты, переломаны. (Между прочим, позднее я узнала, что этот «добродетель», как и еще дюжина «прохожих», был агент ДИНА, принимавший участие в операции.) Стала собираться толпа. Меня обступили со всех сторон, утешали, сочувствовали, проклинали ДИНА. Некоторые советовали поскорее уйти отсюда. Какой-то юноша сунул мне клочок бумаги с номером машины. Женщина, по виду фабричная работница, взяла меня под руку и повела подальше от этого места.

С этого момента Мануэль Герреро попал в категорию «исчезнувших». Его жена, отец, другие родственники начали неустанные поиски — бесконечные и безрезультатные обращения в министерство внутренних дел, в трибуналы, посещения моргов, требующие мужества сами по себе. Что же происходило в это время с Мануэлем?

Он рассказывает:

— Мы ехали минут тридцать-сорок, затем машина остановилась. Меня выволокли наружу. Перед глазами у меня все ходило ходуном, но я все же поднялся на ноги. Меня подтолкнули вперед: иди. Руки скручены за спиной, на глазах липкая тряпка, из раны течет кровь. Я шел, спотыкаясь на каждом шагу, падая и теряя сознание. Они же смеялись и отпускали грязные шутки. Потом вдруг толкнули, заставив изменить направление. Я сделал шаг и полетел вниз по какой-то лестнице. Потом меня подняли и заставили войти в маленькую дверь. С завязанными глазами я несколько раз не мог попасть в проем, больно ударяясь лицом о косяк двери. Наконец я оказался в большой комнате. Так мне показалось, потому что голоса отдавались в ней слабым эхом. Меня раздели догола и принялись бить, удары сыпались со всех сторон, все больше по ране.

Мануэль говорит спокойно.

— Я потом думал, зачем им все это: надевать на глаза повязку, подстраивать внезапное падение, раздевать догола, прежде чем бить? А затем — чтобы привести человека в состояние полнейшей растерянности, оглушить его, унизить, отравить его страхом. Причем вся эта обработка производится до того, как задан хоть один вопрос. Они называют это «предварительным размягчением»...

А ведь у Мануэля было уже пулевое ранение. Спрашиваю Мануэля, куда его ранили.

— Уже в машине мне стало трудно дышать. Мне казалось, что я ранен в грудь. Так оно и оказалось. Пуля вошла чуть ниже правого соска и застряла под левой лопаткой, прошив грудь справа налево. Каким-то чудом она не задела ни сердце, ни одно из легких.

— Там, куда вас привезли, вам не оказали какую-либо медицинскую помощь, не сделали перевязку?

— Ну что вы! Наоборот, они так и норовили ударять именно по ране. Потом меня уложили на какое-то возвышение, и начался допрос. Пытаясь выжать из меня какую-нибудь информацию о подполье, они приложили к моим ногам электроды и стали пропускать ток. Чередовали заряды — то сильные, то слабые. Приложили электроды к голове и с видимым удовольствием к ране. Затем мне сделали инъекцию. По их словам, это была «сыворотка», чтобы подкрепить меня. Но, судя по возбуждению, которое я испытал, это был, видимо, какой-то наркотик. Пытки продолжались весь день 14 июня, самый длинный день моей жизни.

Мануэлю твердили, что он ведет себя, как самоубийца. Привели к нему даже врача, конечно, фальшивого, который «озабоченно» сообщил Мануэлю, что если он не проявит благоразумия, не расскажет обо всем, что интересует следователя, то умрет, потому что у него сильное внутреннее кровотечение. Эта сцена повторилась еще дважды. Наконец как-то ночью, опасаясь, что пленник и в самом деле умрет, а они так ничего и не выведают от него, палачи перевезли его в другое место, где ему была оказана, как его и уведомили, «минимальная» медицинская помощь.

— Кажется, это был госпиталь карабинеров в Сантьяго, — вспоминает Мануэль. — Поместили меня туда под фальшивым именем. Все лечение заключалось лишь в том, чтобы не дать мне умереть, чтобы я мог говорить. Уже два дня спустя меня там же, в госпитале, снова избили. Держали под охраной в крохотной камере. Потом пять суток допросов. И все пять суток не снимали повязку с глаз. Затем перевезли в лагерь «Куатро Аламос», место, используемое ДИНА для «оздоровления» арестованных, подвергшихся жестоким пыткам, и для полной изоляции их от окружающего мира.

В те самые дни в Сантьяго заседала Ассамблея Организации американских государств, и на ней представитель хунты заявил, что обвинения в пытках и нарушениях прав человека в Чили — это «вымысел», «клевета», «кампания по дискредитации, организованная международным марксизмом»... Демократические силы Чили сумели воспользоваться благоприятным моментом — тем, что в чилийскую столицу наехало много зарубежных делегаций и журналистов из разных стран. Не считаясь с угрозами полиции, жены и родственники тысяч «исчезнувших» заключенных давали интервью, рассказывали иностранцам о реальной обстановке в Чили. К этому времени усилилось давление на трибуналы и со стороны профсоюзов, адвокатов, католической церкви.

С момента ареста мужа Вероника предпринимала все возможное для его спасения.

— В день ареста я пошла в Викариат Солидарности (организация католической церкви, которая предоставляет помощь родственникам политзаключенных. — **Х. В.**), рассказала о случившемся и попросила помощи. Меня познакомили с одним адвокатом, и он тут же составил жалобу в апелляционный суд. На следующий день я пробилась к председателю Верховного суда. В приемной я увидела других женщин, пришедших по таким же делам. Встретила, например, жену Марсело Конча, тоже, как и я, беременную. Марсело, молодой инженер-агроном, закончивший Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве, был арестован в апреле 1976 года и «исчез». Он и по сей день числится в «исчезнувших»... Председатель Верховного суда сказал, что сожалеет, но ничем не может мне помочь. Но я так настойчиво его просила, что он все же позвонил при мне министру внутренних дел генералу Бенавидесу

и получил стандартный ответ: «Такого не арестовывали... Приказа о его аресте нет». Тогда председатель поднял трубку «красного» телефона и связался с полковником Мануэлем Контрерасом, шефом ДИНА. Однако и тот ответил, что его люди не арестовывали никого, кто был бы похож по описанию на моего мужа. Председатель повесил трубку, окинул меня долгим взглядом и произнес: «Большего я сделать не могу. Все это делается по прямому приказу генерала Пиночета».

Но Вероника не упала в обморок. Она побывала в Международном Красном Кресте, в отделении Организации Объединенных Наций, в Национальном бюро по делам заключенных, в «официально признанном» концентрационном лагере провинции Сантьяго «Трес Аламос». Другие члены семьи тоже не сидели сложа руки. Отец Мануэля, известный писатель, добился от руководства Союза писателей (руководства, между прочим, подобранного хунтой) письма Пиночету с просьбой освободить молодого учителя.

Все эти усилия, а также требования международных учительских организаций, профсоюзов, университетов, поддержка советской общественностью кампании за освобождение Мануэля Герреро возымели действие. После недели пребывания в тюрьме лагеря «Куатро Аламос» Мануэль был переведен в лагерь «Трес Аламос», где его уже смогла навестить жена. И только тогда он узнал, что Вероника не была арестована.

Вероника:

— Первое, что он мне сказал: «Можешь мной гордиться. Из меня не вырвали ни единого слова».

На следующий день Вероника снова посетила председателя Верховного суда и рассказала, что виделась с мужем, который, по словам министра внутренних дел и главаря ДИНА, не был арестован, но вот оказался каким-то образом в «Трес Аламос», с пулей в груди, без медицинской помощи, да еще после варварских пыток.

— Председатель Верховного суда, — рассказывает Вероника, — снова позвонил полковнику Контрерасу и потребовал объяснений. Шеф ДИНА сказал, что, видимо, арест был произведен другой службой безопасности. Начались попытки добиться, чтобы какая-нибудь из служб хунты официально признала арест моего мужа и его содержание в заключении. После долгой волокиты был издан «декрет», в котором говорилось, что Мануэль был арестован 18 июня, хотя на самом деле это произошло 14-го. Позже издали другой «декрет» — о том, что арест произошел уже 25 июня, и эта ложь должна была стать официальной правдой.

С немалым трудом семья добилась, чтобы Мануэлю сделали операцию и извлекли застрявшую у него в груди пулю. При этом родным его пришлось поволноваться еще и из-за того, что оперировать разрешили не в обычной больнице, а в госпитале военно-воздушных сил, известном как место, где замучили многих политзаключенных. На этот раз все обошлось...

Перевезенный обратно в «Трес Аламос», Мануэль смог поговорить с председателем Верховного суда, который как раз совершал инспекционный осмотр лагеря. И начался самый фантастический этап в его одиссее: сам магистр юстиции — председатель Верховного суда — санкционировал расследование о применявшихся к Мануэлю пытках (формально хунта считает пытки правонарушением). Это был первый случай со дня военного переворота, 11 сентября 1976 года, когда был дан ход процессу подобного рода и политзаключенный при поддержке председателя Верховного суда стал обвинителем режима в его же военных трибуналах. Это стало возможно благодаря явному ослаблению позиций диктатуры, ее изоляции, обострению ее внутренних противоречий и международному давлению.

Шли недели, месяцы. 1 октября Вероника родила девочку, а еще несколько дней спустя и Мануэль увидел дочь.

Время от времени Мануэля под усиленной охраной возили в одну из военных прокуратур Сантьяго, где шло разбирательство его заявления. Происходило нечто странное: казалось, все случившееся — результат какого-то мистического недоразумения. Представители ДИНА отрицали причастность этой службы к аресту и пыткам Мануэля Герреро. То же утверждало руководство карабинеров. Возникло «предположение», что арест Мануэля был произведен секретной службой военно-морских сил, — заведомая нелепость, так как ее «поле деятельности» — порты и некоторые провинции, но не столица. Следователи не скрывали ненависти к узнику, выступавшему в неожиданной для них роли истца. Но Мануэль твердо стоял на своем, хотя и прекрасно сознавал, что находится в пасти волка. «Расследование» зашло в тупик — прокуратура постановила, что выяснить, кто занимался «делом» Мануэля Герреро, якобы невозможно. Когда же узник воскликнул, что вовсе не трудно узнать, кто именно переводил его из камеры пыток в «легальный» изолятор «Куатро Аламос», стоит только заглянуть в передаточный акт, один из судей прошипел злобно: «Не быть тебе в живых, сволочь!»

Наступил ноябрь. Под давлением международной общественности и пытаясь предотвратить вынесение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, осуждающей хунту, Пиночет пообещал освободить «всех» политзаключенных. Это был всего лишь маневр. Освобождению подлежало 300 человек — узников лагерей «Трес Аламос», «Пучункави» и «Ритоке» — тогда как по всей стране оставались и остаются по сей день более двух тысяч заключенных плюс две с половиной тысячи «исчезнувших», которых содержат в секретных тюрьмах.

Родственники Мануэля с нетерпением ждали его освобождения. Но уже в который раз произошло неожиданное.

Вероника:

— Мы отправились к воротам «Трес Аламос», где собрались сотни родственников заключенных. Час за часом, медленно, по одному выпускали узников. Объятия, слезы... На свободу выходили мужчины и женщины, которые месяцы и годы провели в заключении, вытерпели невероятные пытки и издевательства. Но вот вышел последний заключенный, список был исчерпан. Мануэля не было. Мы бросились к лагерному начальству. Мне ответили, что, поскольку процесс, начатый по его заявлению, еще не закончился, Мануэля перевели в лагерь «Пучункави», в ста километрах от Сантьяго, в провинции Вальпараисо.

На следующее утро, сразу же по окончании комендантского часа (6 часов утра), Вероника поехала в «Пучункави».

Вероника:

— Огромный лагерь был пуст. Только охрана у ворот. Мне ответили, что заключенного с таким именем здесь нет. В этот момент из ворот выезжал «джип». Я заглянула внутрь и увидела... мужа! В машине сидел и комендант «Пучункави». Он явно растерялся, и я упросила его пустить меня в машину. Мы поехали в Вальпараисо, в Форт Сильва Пальма, где заключены моряки, сохранившие в момент переворота верность конституции. Туда же поместили и мужа. Я долго ждала у ворот. Наконец появился комендант лагеря и сказал: «Произошло явное недоразумение. Мы к этому случаю не имеем никакого отношения. Герреро будет отвезен обратно в «Трес Аламос», а уже там его выпустят на свободу».

Вероника и родственники Мануэля установили свою «слежку» у ворот лагеря. На следующее утро им сказали, что Мануэль должен быть в 11 утра вывезен из лагеря в направлении к Сантьяго. Потом в 12. Полдень миновал, Мануэль оставался в Форте Сильва Пальма. Новое обещание — в 15 часов. И опять обман... Только в половине шестого, когда, казалось, что уже не на что надеяться, появилась машина с Мануэлем. Его отвезли в «Трес Аламос». Еще сутки — и вот он на свободе.

...Бродя по улицам Москвы, Мануэль Герреро вспоминал эпизоды и события своей невероятной одиссеи. Мне же хотелось узнать и понять, что за сила помогла ему выстоять.

— Палачи из ДИНА прежде всего пытаются раздавить заключенного морально, унизить его до уровня существа, обуреваемого диким страхом, добиться полного господства над его волей. А сила, которая помогает товарищам выстоять... В ней нет ничего загадочного и сверхъестественного. Эта сила убеждений, идеалов, любовь к семье, к родине, к самой жизни. Чувство настолько сильное, что каждый из нас знает: если его сломят, если он покорится надругательствам фашистов, тогда сама жизнь потеряет всякий смысл. В самые тяжелые минуты, несмотря на пытки, на полную изоляцию от окружающего мира, на нечеловеческую боль и страдания, открываются силы, о которых ты сам не подозревал, и это помогает выстоять. Чувство человеческого достоинства дает тебе моральное превосходство над врагом, и это презрение вселяет в палачей страх.

— Не всем удается выдержать до конца?..

— Бывает, — говорит Мануэль. — Не все выдерживают пытки. Но вот что я скажу. Один товарищ вынес жесточайшие пытки, но не сказал ни слова. После трех адовых дней «обработки» один из палачей сказал: «Строишь из себя героя? Знай же: то, что мы хотим из тебя выжать, нам давно известно». И впрямь перечислил имена и явки. «Идиот, — злорадствовал он, — ты столько вытерпел. Те, кто поумнее, не мучились и все сказали, даже ключи к шифровкам. К чему тебе было так мучиться?» Удар, конечно, был силен. Несколько минут прошли в гробовом молчании. Но товарищ понимал, что, хотя это правда, хотя кто-то не выдержал, его мучения не были напрасны. Он одержал моральную победу над врагом. Он взглянул на своих мучителей и попытался улыбнуться распухшими и окровавленными губами, обожженными электрическим током: «Но меня-то вы не заставили говорить!» Во взгляде палача он прочел поражение. Отведя глаза, тот пробормотал: «Эти коммунисты, они из железа».

Такова «сталь», которая закаляется в невидимых сражениях в Чили. Такова сегодняшняя «Молодая гвардия» Чили.

Перевел с испанского Борис СИМОРРА

ПРАВО, ГАРАНТИРОВАННОЕ СОЦИАЛИЗМОМ

Наш корреспондент беседует с заместителем министра высшего и среднего специального образования СССР

Николаем Николаевичем Софинским

— Среди читателей «Ровесника» много студентов и, вероятно, еще больше студентов будущих. Свое право на образование они считают естественным, обычным делом. По-видимому, это ощущение сложилось не вдруг, ему предшествовал определенный период развития советской высшей школы.

— Мы действительно свыклись с нашими неотъемлемыми конституционными правами. Сам этот факт тоже показатель достижений социалистического общества за 60 лет Советской власти. Как обстояло дело до Октябрьской революции? Возьмем для примера Петровскую академию, ныне сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. В числе 1322 студентов было: 2 князя, 1 барон, 366 дворян, 94 поповича, 69 потомственных «почетных граждан», 73 купеческих сына, 290 мещан, 37 казаков, 322 крестьянина из наиболее зажиточных хозяйств. Вот вам социальный портрет одного вуза, притом сельскохозяйственного, что же говорить о более «престижных».

Декретом Совнаркома от 2 августа 1918 года были отменены все сословные и имущественные рогатки, установленные царским правительством для трудящихся при поступлении в вузы. Владимир Ильич Ленин в те дни сказал: «Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Девять десятых трудящихся масс поняли, что знание является орудием в их борьбе за освобождение, что их неудачи объясняются недостатком образования и что теперь от них самих зависит сделать просвещение действительно доступным всем». Ленинский декрет от 17 сентября 1920 года ввел рабочие факультеты при всех вузах для «широкого вовлечения пролетарских и крестьянских масс в стены высшей школы». Вот тогда это свое право юные Ломоносовы из народа ощущали остро, празднично как настоящую революционную победу. Таким образом, Советская власть с первых же дней своего существования не только провозгласила право на образование, но и начала создавать материальные условия для реализации гражданами этого права: образование у нас бесплатное; стипендии получают 80 процентов всех студентов; те, кто занимается без отрыва от производства, имеют оплачиваемый дополнительный отпуск для сдачи экзаменов. Благодаря заботе партии и государства право учиться в нашей стране действительно стало восприниматься как норма социалистического образа жизни. Однако это же право налагает и предполагает выполнение обязанностей перед обществом. Обязанности эти высоки и почетны. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев определил их так: «Советский специалист сегодня — это человек, который хорошо овладел основами марксистско-ленинского учения, ясно видит политические цели партии и страны, имеет широкую научную и практическую подготовку, в совершенстве владеет своей специальностью...

И, конечно, современный специалист — это человек высокой культуры, широкой эрудиции, в общем, это настоящий интеллигент нового, социалистического общества».

Вот та характеристика советского специалиста, которая соответствует высокому уровню, достигнутому нашей системой образования за 60 лет Советской власти.



Возникает такой вопрос: может ли какое-либо буржуазное государство сравниться с нами в области образования, причем государство формально не ограничивающее доступ в вузы своим гражданам. На вопрос приходится отвечать вопросами. А на что жить, есть, покупать учебники, платить за учебу, если родители помочь не в состоянии? В США, например, плата за обучение в некоторых высших учебных заведениях достигает 5 тысяч долларов в год. А отсутствие гарантии на работу после окончания вуза? Десятки и десятки тысяч людей с новенькими дипломами на Западе не могут найти работу. Не случайно в большинстве капиталистических стран дети рабочих и крестьян составляют среди студентов скромное меньшинство — от 7 до 10 процентов.

— При всех различиях систем высшего и среднего образования в социалистических и капиталистических странах контакты между учебными заведениями в последние годы становятся все шире и разнообразнее. Насколько они полезны?

— Действительно, такие контакты расширяются к обоюдному удовлетворению. Наряду с такими, ставшими уже традиционными формами, как научная стажировка, исследовательская работа за рубежом, обмен преподавателями, аспирантами и студентами, участие в конференциях, появились новые формы сотрудничества — совместные семинары по проблемам высшего образования, создание смешанных авторских коллективов для подготовки учебников по русскому языку для иностранцев. Целесообразность такого сотрудничества несомненна и выгодна для всех его участников. Важно, чтобы при этом они руководствовались принципами, зафиксированными в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

— Сравнения в таком деле, как высшая школа, делать, наверное, нелегко. И все же нельзя ли привести какие-нибудь факты, характеризующие систему образования в СССР и в других странах?

— О всяком деле люди судят по результату, а конечный «продукт» советской высшей школы — колоссальный прогресс нашей науки, техники, искусств — говорит сам за себя. Это к вопросу о качестве. Ну а в количественном выражении? Возьмем хотя бы оценку, излюбленную экономистами, — «на душу населения». Так вот, на 10 тысяч жителей в СССР в 1976/77 учебном году приходилось 192 студента (в 1914/15 году — 8), то есть у нас каждый пятидесятый — студент; соответственно во Франции (1973/74) — 149, в Англии (1973/74) — 88, в Италии (1975/76) — 128, в ФРГ (1974/75) — 88. Если в США за последние годы из-за финансовых трудностей закрылось 80 высших учебных заведений, то у нас, наоборот, создавались новые. Всего сейчас в СССР 860 вузов и около 5 миллионов студентов.

— Да плюс еще из других стран?

— Сорок девять с половиной тысяч. В том числе 27 тысяч — из социалистических стран. Наше сотрудничество с вузами братских стран расширяется год от года. Назову некоторые формы совместной работы. Десятки советских вузов связаны договорами с вузами других стран социализма о совместных научных исследованиях, конференциях, обмене преподавателями. Ведется работа по согласованию и сближению учебных планов и программ, совместная подготовка учебников на двусторонней основе. В конечном счете все эти усилия нацелены на то, чтобы содействовать социалистической интеграции стран — членов СЭВ.

— В советских вузах учится много студентов из развивающихся стран (кстати, рядом с этим интервью мы помещаем очерк об индийском студенте). В разных странах своя специфика, связанная с уровнем экономического развития, другими особенностями. Учитывается ли это при обучении?

— Обязательно. Мы корректируем учебные программы с учетом условий, в которых придется работать выпускнику, издаем специальные учебники. Это касается и агрономов, и медиков, и инженеров. Всего сейчас в наших вузах около 22 тысяч студентов из развивающихся стран. Их подготовка увязывается с планами хозяйственного развития и программами экономической и технической помощи СССР этим странам.

— Но вот годы учения позади, молодой специалист уезжает на родину. И что же — его связи с альма-матер обрываются?

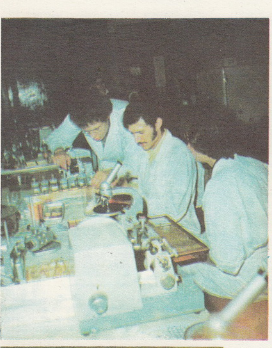
Нет, не обрываются. Во-первых, у нас есть система повышения квалификации для выпускников-иностранцев, кроме того, они могут учиться в аспирантуре, проходить научную стажировку. Добавим также, что преподаватели выезжают в те или иные страны, чтобы на месте ознакомить своих бывших студентов с последними достижениями в их области знаний. Это, так сказать, по линии официальной. Ну и конечно же, в любом из трехсот советских вузов, где обучаются иностранцы, вам покажут письма из-за рубежа от бывших питомцев. Все эти письма, такие разные, говорят об одном: их авторы увезли с собой теплую признательность нашей стране, интерес к нашей жизни, хранят дружеские связи.

ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. ЭТО ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНОСТЬЮ ВСЕХ ВИДОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ, ШИРОКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СВЯЗИ ОБУЧЕНИЯ С ЖИЗНЬЮ, С ПРОИЗВОДСТВОМ; РАЗВИТИЕМ ЗАОЧНОГО И ВЕЧЕРНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ ЛЬГОТ УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ.

Из проекта Конституции СССР

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРЕТЬИМ ЯЗЫКОМ

Ю. ЛЕКСИН,
наш спец. корр.









В вузах шла летняя сессия... Вместе с советскими студентами экзамены сдавали студенты из разных стран, которые получают высшее образование в СССР.

На снимках наших корреспондентов: лабораторные работы выполняет студент МГУ Санчес Луис из Коста-Рики;
на съемках студенты ВГИКа Серхио Альборнос из Чили и Марио Рибера из Колумбии;
на волейбольной тренировке студентка центрального института физкультуры Ева Лудвикова из ЧССР;
экзамен по терапии сдает студентка Второго Московского медицинского института Жанвьер Маримбу из Бурунди.
Фото Петера БАРТОША (студент операторского факультета ВГИКа, ЧССР) и Л. ДРАНКЕРА

Звали его Джитендра Рачхуванши.

Был он невысок ростом, тело его — стоял ли он, шел или сидел — было наклонено вперед, но без сутулости, и наклон этот был ровно такой, что не делал его заискивающим, а только деликатным — казалось, вот-вот он что-то переспросит, не разобрав с первого раза, или похвалит вас ни за что какими-то известными только ему словами.

Но он не хвалил, не переспрашивал, хотя видно было, что он добр и мягок.

Идя к нему во второй раз, я уже опасался этой его мягкости — разговор наш мог легко увязнуть в ней, и тогда уж нам точно не выбраться из нее, так бы мы и кланялись друг другу вперегонки — затейливо и бесконечно. И тогда первое, что я спросил его, было вот что:

— Зачем вы такой? — спросил я. — Ведь столько еще зла в мире... Можно ли с ним только мягкостью?

Он не удивился, и я продолжал:

— Это натура в вас? Или вы действительно верите, что надо быть таким?

Он впитывал мое раздражение с восточной снисходительностью и не разрушался.

— По-моему, — сказал он, — человек и добрый и злой бивает.

Он говорил мягко — «бивает».

— Так что... ну, я бы не сказал — добрый я. Всякое бывает. Но вообще я к людям почему-то хорошо отношусь. Мне трудно объяснить.

— Объяснения-то и хотелось бы, — невольно сказал я.

— Да, — сочувственно согласился он. — Воспитание, наверно, такое... Может, у нас дома гостей всегда много было — поэтому?

Ничего более странного для объяснения мягкости я не слыхал никогда. Никаких сомнений, что он понимает меня, не было. Он уже жил в нашем языке, как живут в своем доме: там могли случаться маленькие радости, там случались потери и находки, там пахло жильем. Это был его третий язык — он знал еще хинди и английский. Он действительно был способным человеком, и эта способность доставляла ему радость, потому что всегда была в нем, и он чувствовал ее, как можно чувствовать простые радости жизни, зная, что они принадлежат всем и тебе в том числе и будут принадлежать еще долго, почти вечно. (О нем и на факультете говорили очень интересно — не только как о «способном филологе», но как о «способном человеке». Его отзывчивость и сдержанность никем уже не воспринимались как привилегия его натуры, а его мягкость принадлежала всем, кто только хотел, чтобы она принадлежала ему, и был способен ответить чувством схожим и искренним.)

— Репетиция когда, — продолжал он, — у нас отец и режиссер, и артист сам, и драматург, — репетировали всегда у нас в доме, и много людей, и разные. Так с самого детства. Это, наверное? — полуспросил он. — И потом я знаю, что я сам с недостатками, поэтому и других понимаю. Конечно, не всегда так. Ведь каждый человек думает, что он прав. Я тоже так. Но мои слабости могут быть и у других...

— И вы можете их назвать?

— Я? — растерялся он. — Могу.

Надо было засмеяться, и мы засмеялись.

— Ну, я небрежный очень... Во многом. В одежде вот... Или вещи у меня все время пропадают — чужие. Я знаю, что это нельзя, а они пропадают, и все. Я все время их ищу.

— Большая слабость, — съязвил я. Но совестно стало.

— Ну, все-таки слабость, — серьезно сказал он. — Потом, я не могу терпеть, когда на меня не обращают внимания. На занятиях, например, хочется, чтобы каждый миг видели меня, замечали...

— Какой вы способный?

— Как вам сказать... Не очень это хорошо.

— Так мы и говорим о слабостях. А достоинства?

— Открытость разве.., — почти беспомощно сказал Джитендра. — Хотя это тоже не всегда хорошо. С людьми еще схожусь не скоро. А хотелось бы. И не умею иногда. Но если уж складываются отношения, то надолго, навсегда.

— Прямо так?

— Да. Никогда не было, чтоб я кого-нибудь забыл.

И, не говори он все это смущенно, странным бы был наш разговор. Но он смущался, и ложь, похоже, была для него запретной. И я мог спрашивать о чем угодно.

— Джитендра, — спросил я, — вы знаете, разное ведь с людьми случается. Да и не только с людьми, со странами, например... Очень жаль, но это так. Случись такое, и что вы? Как поведете себя?

— Я буду самим собой. Потому что буду считать, что я прав.

— И много будет ваших единомышленников?

— Много. Вот сейчас, если подумать, к кому и как относятся в Индии, к русским, получится, лучше всех. К англичанам отношение сложное. Видите ли, вместе с другими чувствами было между нами много страха и вражды. Хотим мы этого или не хотим, но это так. Тут, конечно, многое определяют обстоятельства, политика, история, наконец... Но думать надо каждому. Каждому за себя. По-другому вряд ли получится.

— А почему к нам хорошо относятся?

— Советский Союз всегда поддерживал нас, естественно, он друг. А кто не знает про заводы крупные, построенные с вашей помощью? Все знают. Много накопилось добра в отношениях. Хорошо это.

— Какой же вы представляете нашу страну? Вы, Джитендра, видели-то всего... Донецк — там на подготовительных курсах учились, да? Ну, Москву еще, Ленинград. В Краснодоре были, в Тбилиси, Баку... Все? Не мало ли? Какая она? Русский язык уже ваш, можно сказать, в нем вы свой человек. А земля?

— А я по-другому ее узнаю. От друзей. Якут есть друг. Есть из Ижевска. Из Казани есть, из Калмыкии, из Петрозаводска, из Челябинска... Недавно вот прочел, что в Челябинске ярмарка, а у меня там друг, мне читать интересно.

— Много же вам надо друзей!

— Да вот Октябрьский праздник был, мы вдвоем с Парамдхит сто открыток написали — все друзьям.

— А получаете помногу?

— Штук по пятьдесят иной раз... А на Новый год приходит не меньше ста, на день рождения тоже... И это удивительно: люди рядом живут и то не всегда друг друга навещают, а вдалеке... А это важно, чтоб в себе человек помнил друзей, чтоб разговаривал с ними иногда — хоть как во сне. Приходят же они к нам во снах, навещают. Или это мы их навещаем.

— Как же у вас началось это? Весь интерес к языку, к культуре нашей? — спросил я.

— С отца. Отец и мать коммунисты. Отец увлекался театром, создал в городе театральную организацию. Это было в сороковых годах. Много читал русских на хинди, на английском. Русского языка он не знал и не знает. Интересовался Чеховым, Горьким. Горького он вообще считает самым лучшим писателем — за его понимание людей. Недавно написал мне, что хочет ставить «Мать» на хинди... Мы уже ставили с ним на хинди «Мещан». Я текст перерабатывал — мы хотели сделать, будто это в Индии происходит. Вообще же у нас профессиональный театр слабо развит, поэтому отец и стал журналистом — не мог заниматься одним театром. Но в семье театр чуть ли не главное в жизни. Для меня тоже. Скажи мне: завтра экзамен и пьеса, так я на экзамен, наверно, не пойду, в театр скорее... Это как, тоже недостаток?

Он уже возвращал мне мою иронию.

— А в сорок втором году, — продолжал он, — все маленькие самодеятельные организации слились в одну — при Компартии Индии. Она называлась Всеиндийская народная театральная ассоциация. С той самой поры отец уже совсем связан с театром — совсем и насовсем. В сорок втором у нас в Бенгалии был страшный голод, и они выступали на площадях, собирали голодающим деньги. Ставили пьесы импровизированные — написанных не хватало. Отец и сам писал — и музыку, и слова. Много в политической борьбе участвовал, в тюрьме был много. Это еще до независимости. Мама тогда студенткой была, тоже в забастовках участвовала. Однажды голодовка была, так она двадцать восемь дней голодала. Взяли студентов за забастовку и в тюрьме держали по самой худшей категории. У нас их было три — таких категорий, так их по самой жесткой держали. Вот мама и голодала, чтобы их перевели в другую. А потом они уже вместе с отцом были, я еще не родился, и в театре тоже стали вместе. Мама вообще была первой женщиной в городе, которая стала играть на сцене. Агра — мой город. Небольшой, тысяч шестьдесят.

А когда сложились хорошие отношения с Советским Союзом, стали приезжать ваши артисты — родители были в обществе дружбы, они и устраивали их выступления. Так что никак я не мог не заинтересоваться русскими. Для нас ведь вы все русские, кто бы ни были на самом деле... Потом и я стал работать в обществе дружбы секретарем.

А в пятьдесят седьмом году отец получил премию Всемирного Совета Мира. Вручали ему ее в нашем городе. Премия была за укрепление мира, а если конкретно, то отец написал и поставил тогда танцевальную драму — политическую, она до сих пор идет. А я уже тогда стал мечтать, как бы приехать к вам. У меня ведь и первая сказка была русская — «Лиса и журавель».

— Это как они кормили друг друга?

— Да. В гости ходили... Потом о лисе, которая научилась летать.

— Летать? Нет такой сказки.

— Есть. Может, правда, индийский вариант, но это целый цикл о русской лисе... «Белые ночи» я прочел в седьмом классе. Тут уж просто решил: поеду к вам. И как часто в жизни бывает, не получалось. Я было отчаялся, сглупил — поступил на факультет естественных наук и целый год плохо учился там. И не послушайся я себя, так и ошибся бы я в жизни. Но вовремя ушел. Поступил на филологический и окончил по филологии хинди. А в это же время поступил на вечерние

курсы русского языка. Полтора года это было как бы моей тайной — я смотрел, подсматривал сам за собой и решал: станет это моим навсегда — ваш язык — или это просто так у меня? И тогда уже вовсе не знаю что... Преподаватель на курсах был русский и очень хороший. Не только как учитель, как человек хороший. Он и сейчас в МГУ преподает. Теперь-то я вижу, мне от него не только русский нужен был, мне его дружба нужна была. И я, как сейчас вспоминаю, очень уж откровенно желал ее, чуть ли не требовал. Навязчивость эта другого человека, может, и отпугнула бы, и опять бы у меня все сломалось, не так пошло, в сторону куда-нибудь, так что уж и не вернуться — нельзя же в жизни только и заниматься тем, что ошибаться и возвращаться все к той же печке. Но незаметно мы сдружились. Он в городе был одиноким, особенно вначале, так мы гуляли, ходили в кино... Между нами ничего не стояло, кроме огромного этого языка. Он был как стена: убери ее, и все будет великолепно. Но как? И мы с ним словно прогрызали эту стену с двух сторон. И тогда она начала исчезать... Сейчас смотрю: наверно, ведь и я представлял какой-то интерес для него — может быть, просто своей естественностью, то есть тем, что я просто жил у себя дома. Наверное. Время пройдет, и, может, я узнаю и это — почувствую. Только они и с отцом моим сдружились — говорили много, спорили. А я так потом скучал по нему... Через четыре года встретились — так обрадовались... У него уж теперь жена, ребенок. Очень хороший человек. Они на моем пути словно расставлены кем-то — хорошие люди. Так мне кажется иногда.

— Джитендра, как вы думаете, само понятие «учитель» отличается чем-то у вас от нашего?

Он задумался.

— Думаю, да. Само сочетание «мой учитель» у нас более лично воспринимается. У вас это шире. Нельзя сказать, что у вас нет этого личного, без личного не может быть и учительства, но у вас это шире.

— Что значит? Не понимаю.

— А я не знаю, как точней сказать... Он бо́льшим людям принадлежит, ваш учитель, так, пожалуй. То есть и мне и еще многим — более многим.

— А вы хотите непременно еще и личных отношений, так ведь?

— Наверно, так.

— Не из-за этого ли вы как-то особенно, лучше других знаете русский?

— Вы о моих товарищах? Если формально, то у меня основа была — семья, весь интерес ее ко всему русскому, потом те полтора года. А если по-человечески, то я долго шел к нему, к русскому языку. К тому же слух у меня хороший, мне легче. И то поначалу испугался малость — уже здесь, в Ленинграде... Преподаватель у нас очень агрессивно ведет занятия. Что, сильно сказано? Может быть. Только человек, не привыкший к такой напористости, быстро теряется, а в этой напористости как раз то, что нужно, — в ней игра в убеждение, что мы уже отлично знаем язык. Эту игру поддержать надо — иначе кто-нибудь из двоих устанет, испугается. А она не устает. Не устает и не устает До сих пор. Выходит, опять повезло с учителем.

— И вы не теряетесь в общении с нами? В любой ситуации?

— Нет. Хотя нет.. Вот случись, например, с кем-то драка, и мне не рассказать о ней.

— Как так?

— А вот как это руками все происходит: он так, я так, он туда, я сюда. Слов я этих по-русски совсем не знаю. Вы слышите, как я говорю: так, так, туда, сюда.

— Да почему же?

— А потому что со мной этого не происходит. Я даже не понимаю, как такое может случиться со мной здесь.

— Так теперь это будет у вас вечным пробелом?

Согласный, он рассмеялся, но спохватился:

— Нет, нет, можно и по-другому узнать, от других. Вот в колхозе я работал на практике — и совсем другая лексика — смородина, вишни... А потом на фабрике ткацкой — нам организуют самую разную практику, в наших же интересах, — так такие слова узнал там, что и многие русские не знают. Кельфер вот... Знаете? А это специальное приспособление — рулоны тюля таскать. Я пять недель подсобником работал. Между прочим, сто тридцать пять рублей получил.

— А курсовая по «Борису Годунову»? И все понятно в нем, в Пушкине?

— Нет. Нет, конечно.

— Спросите меня что-нибудь — из трудных вам слов.

Он достал аккуратную тетрадочку и спросил: слепая кишка? прокатить на вороных? кромешный ад? утлый челн? К «Борису Годунову» это не имело никакого отношения, но он хотел подходить к языку со всех его сторон и сейчас читал что-то другое. Что, я не спросил.

— А древнерусскую литературу отлично сдали, да? Меня вот какая связь интересует... Есть ли она, эта связь, между нами, нынешними, и теми, древними, в характере, например? Как вам со стороны? Говорят, видней. Или нет ее совсем?

— Есть, есть, — поспешил он. — А тот же протопоп Аввакум... Он же принципы свои отстаивает, он же жить без них не может. Он и помирает за них. Я думаю, это и сейчас в вас есть.

Не зря он, кажется, пришел к нам за языком.

— И какие же черты наши? Из главных, если не верхних?

— Вы же сильные! А когда на краю, в несчастье когда, так совсем. Даже непонятно, какие сильные. Это ведь загадка для всех. Вот чего иностранцу не понять. И чем ближе к вам, тем больше понять хочется. И невозможно почти. Я вот на Пискаревском кладбище был... Ведь такого кладбища, наверное, нигде в мире нет. Наверное, его и быть нигде не может. И потом, эти рассказы о блокаде... Они тут всюду, на каждом шагу. Я вот всегда ненавидел войну, но после этого...

Он не стал говорить дальше. Признаться, устал он сильно: взгляд его гас прямо на глазах. Ленинград, в который он так рвался и в котором рад был жить, не жалел его — простуживался он часто, он и сейчас кашлял. К тому же весь разговор наш, похоже, был чрезмерно долгим пребыванием в другой для него стране, не на родине, и страна эта была для него, как, впрочем, и для нас, огромной и непростой. Стали говорить о чем попроще: что нравится ему здесь, что не очень. Нравилось ему, что мы можем окликнуть его прямо на улице: «Эй, парень, дай закурить!» Или вдруг пожалеть: «Одет ты не по погоде. Не холодно тебе?» — это когда в своей индийской одежде он идет, а с Финского свистит ветер. Неформальность эта, как он выразился, нравилась ему.

Недалеко от их общежития был детский сад, и дети в нем еще с пятьдесят пятого года знали об Индии. У них был долгий и, что радовало его, бесконечный, наверное, конкурс детских рисунков. Бесконечный потому, что дети росли, покидали сад и всегда находились новые, и те тоже рисовали. В этом году ребята получили семнадцать призов из Индии, и Джитендра, он председатель землячества, пошел их вручать. «Женщина там была одна, — вспоминал он. — Сын ее в армии уже, а тоже был там, в этом садике. Так она так говорила, даже заплакала... А потом, мы уж уходить, она мандарины мне сует: возьми, мол, с собой, возьми, я знаю, вы, индийцы, любите фрукты. А я и не знаю, что делать... Вот такого на Западе, мне кажется, не может быть. Те же мандарины будут, да и другое что угодно, а только не так все это будет. Совсем».

А не нравилось, что некоторые из сокурсников его — наши — учатся хуже, чем могли бы, не дорожат возможностью учиться, и упрек этого человека, который знал цену образованию и сам работал сверх меры, был мягок и, наверное, справедлив.

— Надо ли стараться быть в чужой стране лучше, чем ты есть на самом деле? — спросил я его.

— Быть лучше надо везде стараться, — ответил он. — А вообще, надо быть самим собой. О своей стране надо правду говорить, только правду, — улыбнулся он. — У нас в Индии некоторые представляют Советский Союз как рай. А ведь рая-то нигде нет на земле. И вот когда приезжаешь сюда с таким представлением, то вряд ли это хорошо. И не нужно это ни нам, ни вам. Точное знание реальности и спасает от этого. Только оно и спасает, — настаивал он. — Какой-то бюрократ тебя обидел, продавщица нагрубила — но ведь я-то в рай ехал! Или как нас иногда представляют... Вышло кино о йогах, и все думают, что в Индии одни йоги, а их там, если по правде, с огнем не сыщешь. Или фильмы наши... Не знаю почему, но у вас идут одни эти мелодрамы с песнями. Вы даже шутите: есть, мол, фильмы хорошие, плохие и индийские. А ведь у нас отличные фильмы есть. Просто отличные — реалистические, без всяких песен этих...

Еще он сказал, что стал больше любить свою родину.

— «Страну родную надо покидать»? — полуспросил он Есениным (кстати, он уже подбирался к нему, хотел переводить и даже трогал его русские слова словами хинди — «Отговорила роща золотая»; говорил, что это понятно будет, особенно крестьянам, весь Есенин будет понятен, но трудно перевести, очень). — Дома, — говорил он, — я чувствовал семью, город свой, в лучшем случае — штат. А отсюда — вся Индия... Даже знать ее хочется лучше. Все время получается, что плохо знаю. Вот приеду домой, накинусь — читать буду, читать, читать.

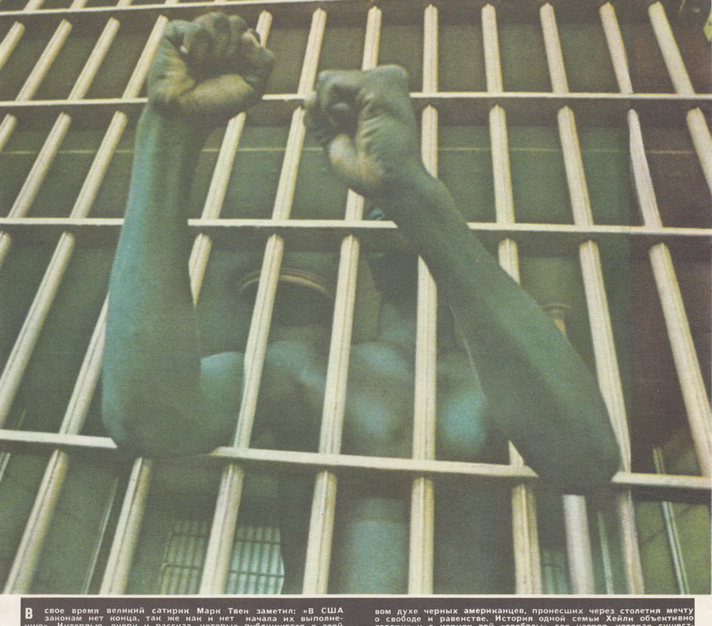
Говорил, что Россия, русские, советские для него — навсегда.

Говорил, что видит себя на родине учителем русского языка — «небольшая группа, только искренне желающие, только такие».

— И еще немножко журналистом, — добавил. — И еще театр... Куда ж я без него? Много, да? Я и сам чувствую, что много, поделать с собой ничего не могу.

...Но пока впереди у него еще три года учебы.

Ленинград



В свое время великий сатирик Марк Твен заметил: «В США законам нет конца, так же как и нет начала их выполнению». Интервью, очерк и рассказ, которые публикуются в этой подборке, в той или иной степени служат иллюстрацией иронической мысли Марка Твена. Все эти материалы в общем-то на одну, неплохо знакомую нашему читателю тему: о жизни в Соединенных Штатах негритянского народа. Еще лучше она, разумеется, известна самим американцам. Так, по крайней мере, всегда считалось. И вот недавно выяснилось, что жизнь эта, в сущности, американцам незнакома...

В феврале этого года американское телевидение показало восемь серий новой телепьесы по роману Алекса Хейли «Корни», которые посмотрело 130 миллионов американцев.

Сам Хейли определил телепьесу, как и вышедшую ранее книгу, как жанр «фэкшн» (от слова «факт») в противоположность «фикшн» (беллетристика). «Корни» — это семейная сага, историческая хроника, основанная на жизни семи поколений одной семьи. Ее начинает родоначальник Кунта Кинте, пойманный в африканской деревне и проданный в рабство, продолжает 15-летняя дочь Кизи, изнасилованная плантатором, внук Джордж, стариком после гражданской войны получивший свободу, и так далее... вплоть до автора книги Алекса, морского офицера, а затем журналиста.

«Долгое время в Америке пытались скрыть или затушевать историю рабства, как будто его никогда не было», — говорил А. Хейли, объясняя причину успеха «Корней». И дело тут не в самом пассивном знании, а в том, что объективное самосознание народа буржуазная пропаганда подменяла лживыми сказками о «добрых плантаторах» и «благодарных и верных детях-рабах». Отсюда недалеко было и до рассуждений об «умственной неполноценности» негритянского народа, так прекрасно «объясняющих» отсталость, необразованность и более низкий образ жизни.

«Корни» рассказали о другом: о жестокости рабства, физически и духовно губившем целый народ, о несгибаемом свободолюбивом духе черных американцев, пронесших через столетия мечту о свободе и равенстве. История одной семьи Хейли объективно говорит и о корнях той «свободы» для негров, которая существует нынче.

Для огромной части населения США история раба Кунта Кинте — это сегодняшняя история. Ведь прошло всего десять лет после кровавых расовых бунтов и общенациональных демонстраций в защиту прав негритянского населения. Репрессивная машина справилась с бунтами, а «демократическая» система провозгласила равноправие, но еще не наступил даже первый день новой истории негритянского народа — истории жизни без унижений, без фактической сегрегации в школах, при приеме на работу и выборе места жительства.

Двухвековая и сегодняшняя борьба негритянского народа — это борьба униженных и угнетаемых, сознательно удерживаемых на самом низком социальном этаже, а потому, по существу своему, борьба классовая. Она не изолирует людей по цвету кожи, а разделяет их по убеждениям. Она не кончается с достижением отдельными неграми-одиночками высот личного успеха (как это случилось с самим автором «Корней»), а нарастает вместе со все ширящимся убеждением миллионов американцев в том, что подлинные права и свободы — это далеко не слова о правах и свободах. Корни этой борьбы не только в истории рабства и противостоянии ему, но прежде всего в социальной несправедливости.

Когда-то борец за свободу негритянского народа Мартин Лютер Кинг писал: «Ужасающая правда состоит в том, что, хотя правительство и предпринимает вялые и бессистемные шаги к достижению равных прав для всех граждан, в повседневной своей деятельности, охватывающей колоссальные экономические и социальные сферы, оно прямо или косвенно участвует в отрицании этих прав. Мы должны взглянуть в лицо тому трагическому факту, что именно федеральное правительство делает крупнейшие в стране капиталовложения в расовую сегрегацию».

С этой «ужасающей правдой» негритянскому народу приходится сталкиваться и по сей день.

ОБНАЖАЯ «КОРНИ»

Орд КУМЗ,
американский журналист



Мне десять лет. Я сижу на балконе отцовского дома. Моя бабушка, женщина кроткая и красивая, лежит рядом в гамаке, обмахиваясь веером из листьев. Я читаю учебник истории Англии, натыкаюсь на звенящий вопль Уильяма Питта: «Несправедливо позволять рабству существовать и дальше хоть час!»

— Бабушка, — спрашиваю я спокойно, — ты была рабыней?

— Нет.

— А твоя мать?

— Нет.

— А мать твоей матери?

— Малыш, — обрывает она меня. Я смотрю на нее и вижу, что она прекратила обмахиваться веером, что грудь ее, на которой я не раз находил утешение в трудную минуту, тяжело вздымается, что лицо, которое всегда казалось мне освещенным любовью, сейчас искажено каким-то гневом. — Почему ты задаешь эти дурацкие вопросы? Для чего тебе знать о тех временах? Такие, как ты, которые любят совать свой нос в чужие дела, могут остаться без носа вовсе!

Я помню эту обиду даже сейчас, потому что она обожгла меня, как обжигает пуля. Я был просто десятилетним мальчишкой, разговаривавшим со старой женщиной, которую любил. После этого я никогда не расспрашивал бабушку о рабстве, и лишь много лет спустя понял я истинную причину ее гнева. У нее не было основания гордиться своим прошлым, и потому она не поведала мне о нем. Она считала, что, лишив меня постыдной памяти о порке, цепях и хлопковых плантациях, дает мне шанс начать жизнь с относительно здоровой психикой. Ей хотелось, чтобы у меня было будущее, и потому она полагала, что должна отказать мне в прошлом.

Этой зимой, в январе, я ехал в такси с человеком, который посвятил двенадцать лет своей жизни попытке возродить наше прошлое. Было два часа ночи, и снегопад, который прекратился вечером, начался сызнова, превращая Нью-Йорк в прекрасный и безмолвный город. Мы возвращались с ужина в честь Алекса Хейли.

Гостиную заполняли преуспевающие черные — Гордон Паркс, режиссер-постановщик, Лайонел Хэмптон, руководитель оркестра, Хьюлин Фирс, президент Национального банка, Роджер Уилкинс, сотрудник «Нью-Йорк таймс», Франклин Томас, президент компании «Бедфорд Стайвесант ресторейшн». Когда тот, в чью честь собрались, вошел, гул голосов смолк, и во взглядах, устремленных на него, были любовь и признательность. Потому что Хейли довольно просто сделал для нас то, что мы были неспособны совершить для себя сами. Он дал нам возможность почувствовать нашу связь с прошлым.

И потом, когда такси медленно продвигалось по зимним улицам, я сказал, что, насколько я знаю, каждый черный уже посмотрел первые две серии «Корней» и что удовольствие, которое они получали от этого фильма, сродни боли. Я спросил, говорили ли ему уже что-нибудь о фильме, и он ответил, что сейчас еще слишком рано судить: впереди еще шесть серий.

Некоторое время спустя появились цифры: 130 миллионов американцев, то есть 85 процентов всех владельцев телевизоров, смотрели какую-либо из серий телевизионной постановки «Корней», а последняя серия, такая традиционная и близкая сердцу каждого американца негритянского происхождения — герои уходят в западный закат, навстречу счастью, — стала самой популярной в истории средств массовой информации. И это в стране, в которой только 12 лет назад был утвержден закон, позволяющий черным есть, пить и ходить в туалет в тех же местах, что и белые!

Нельзя сказать, чтобы все негры были довольны фильмом. Бойси Джон, актер театра «Нью-Йорк сити», всегда безупречно одетый, сопровождающий белых дам в музей «Метрополитен» и обладающий возможностями для поддержания своего изысканного вкуса, сказал: «Я человек сегодняшнего дня. А «Корни» — прошлое. Я живу сейчас. Я не могу и не хочу отождествлять себя с рабами, и я отказался смотреть этот фильм из протеста, потому что от меня ожидалось, что я буду его смотреть. Может быть, я и посмотрю этот фильм, когда будет вторичный показ».

А Ли Борроуз, швейцар, сорок лет назад приехавший из Чарльстона, штат Южная Каролина, чтобы «стать человеком на Севере», не находил себе места в своей квартире в Гарлеме от злости на фильм. «Эти «Корни» — ерунда, — сказал он. — Они рассказывают все не так, как было. Те рабы были относительно благополучными людьми. Я видел в своей жизни такое, после чего «Корни» кажутся почти райской историей. Им никогда не показать жизнь такой, какой она была на самом деле: безнравственной и порочной». Борроуз растерял иллюзии несколько лет назад, и ничто ему их не вернет. Сейчас он живет для какой-то мифической черной мести.

Возможно, горечь этого старого человека поумерила бы мои восторги. Но... о, удивительная мука этих восьми вечеров! Я отказался от всего, что отвлекало меня от падения и возрождения рода Кунта Кинте. Я непрерывно говорил о Белл и Кизи. За неделю я превратился в старого сентиментального дурака.

Я был не одинок. Роберт Энтони Уильямс из Бруклина работает по ночам старшим санитаром в частной клинике. Он не мог изменить график дежурств и взял отпуск, чтобы смотреть фильм. Его приятельница, Тони Фицджеральд, сделала то же самое. Вместе с друзьями они сидели в своей крошечной квартирке и, не стесняясь, плакали. Когда Белл (Мэдж Синклер) просит за свою дочь Кизи (Лесли Агеймс), которую продали на другую плантацию, она падает на колени, и голос ее исходит из глубины какой-то изначальной боли: «Масса, пожалуйста... — говорит она. — Сорок лет я работаю на вас...», и Роберт Энтони Уильямс из Бруклина не в силах больше сдерживаться. «Эти безбожные белые гады», — кричит он, оглядываясь по сторонам в поисках чего-нибудь, что можно было бы сломать, а Тони, его девушка, плача, цепляется за его руку.

В Баудуинском колледже в Брансуике, штат Мэн, черные не впадали в истерику: солидные стены колледжа внушают благоразумие. Но после просмотра «Корней» они согласились дать интервью репортеру местной газеты. Некоторые студенты говорили, что они никогда не будут доверять белым и что «Корни» укрепили их непримиримость к стране, которая так бессмысленно жестоко обращалась с их народом. На это

интервью были злобные отклики, но вот как студент Стив Юинг анализирует их: «В этом городе, где живут почти одни белые, любая дискуссия, касающаяся нашего прошлого, имеет смысл. Черные и белые здесь неверно представляют историю своей страны. Черные прячутся от нее, потому что они ее стыдятся, а белые любят свою версию истории, потому что она заставляет нас стыдиться».

Линдсей Патерсон, писатель, вспоминает, как на коктейлях белых в начале шестидесятых годов сыновья и дочери недавних иммигрантов говорили, что рабство никогда не существовало в США. Они устроились здесь неплохо и потому не могли понять корни негодования черных: «Что-то должно было быть генетически неверно у черных, поэтому они и не преуспели в этой стране свободы». «Сказки скоро кончаются, — говорит Патерсон, — и я достаточно циничен и вижу, что отношение к «Корням» такое же, как и к «Челюстям»[1]. Событие. Приятно возбуждает, и скоро этот фильм станет обычным делом. То есть забудется».

Обычное дело? Что касается меня, я так не думаю. Я не думаю так, когда узнаю, что в Гарлеме, Вашингтоне и Балтиморе ходят слухи о тех, кто любительскими кинокамерами снимал во время показа копии фильма для себя. Я не думаю так, когда узнаю, что молодые негры крадут в книжных магазинах по всей стране экземпляры книги, чтобы незаконно получить то, что безработица не позволяет им получить законным путем. И конечно, я не думаю, что это обычное дело, когда тысячи юных негров встают в очереди, чтобы получить автограф Хейли, и вместе с ними стоят старые негритянки: они говорят, что не могут ждать, пока книга выйдет в дешевом издании, предпочитая заплатить 12 с половиной долларов, чтобы успеть «прочесть ее прежде, чем уйти в мир иной».

По всей стране преподаватели колледжей отмечают возрастающий интерес к предметам, касающимся истории черных. В Баудуинском колледже д-р Джон Волтер неожиданно узнает, что группа белых студентов хочет слушать его курс «Черные с 1865 года».

В Кливлендском университете возник новый семинар на тему «Корней». На отделении египтологии Бруклинского музея Джулиус Тейлор, 24-летний выпускник Йельского университета, принимает решение посвятить свою жизнь изучению истории черной Африки и рабства. «Древние записи, сделанные черными, дали бы нам ключ к пониманию истории нашего народа, подобно тому, как Розеттский камень[1] помог лучше понять древнюю цивилизацию Египта. Мы должны найти их, потому что, когда мы это сделаем, мы узнаем правду об этих людях, и, я думаю, их история будет поучительна и для нас».

В Нью-Йоркском университете руководитель курса «Черные в американской литературе» попросил белых и черных студентов представить себе, что бы они сделали, если бы какой-нибудь зеленый человек вошел сейчас в аудиторию, захватил их и отправился бы с ними в какое-нибудь место, называющееся, к примеру, Джупи-Марс, где их бы превратили в рабов, и их жизни и жизни их потомков зависели бы от воли этих зеленых.

«Я бы покончил с собой», — ответил один из белых студентов.

«Я бы никогда не сдался», — ответил черный студент.

Но остальные долго молчали, и наконец молодая женщина сказала: «Я думаю, я бы выжила. Я сделала бы все, чтобы выжить». После занятий она подошла к преподавателю: «Сначала — «Корни», а теперь — вы», — сказала она.

«Что вы имеете в виду?»

«Я привыкла к тому, что рабы были просто глупцами, недоумками, если соглашались на рабство, — сказала она. — Теперь я знаю, что они были людьми, проигравшими свою битву за свободу. Я так горда ими теперь. Я горжусь их способностью терпеть, их умом. Хотя у меня появился новый страх: я думаю, что никогда не смогу быть достойной их».

В этих словах, наверное, и есть основная заслуга книги и фильма «Корни». Потому что все люди должны знать и чтить свое прошлое, для того, чтобы найти верную оценку и верное решение проблемам сегодняшнего дня.

Перевела с английского
Н. ХРОПОВА

[1] *Нашумевший фильм «ужасов», в котором рассказывается о том, как огромная акула терроризирует население курортного города. — Примеч. ред.*

[1] *Плита из черного базальта, найденная в 1799 году близ города Розетта, с идентичными надписями на древнеегипетском и древнегреческом языках. Сопоставив оба текста, французский ученый Шампольон сумел дешифровать иероглифы. — Примеч. ред.*



To ROVESNIK Magazine,

On the occasion of your youth and peoples celebration of 60 years of good living, I wish to present this small token of my love and appreciation for the role Soviet youth and society has played, is playing, and I am sure will continue to play in bringing peace to the peoples of the world!

I salute you, and join with you in a warm embrace of Proletarian Internationalism, the heart and soul of Marxism-Leninism, of your homeland and youth!

Antar Sudan Katara Mberi
7/6/77
New York

По случаю праздника вашей молодежи и всего народа — 60-й славной годовщины — примите от меня этот скромный знак любви и признания, которые я испытываю, думая о той роли, которую ваша молодежь и общество играют и, я уверен, будут играть в деле укрепления мира на благо народов Земли.

Я шлю вам привет, я обнимаю вас — и это мое понимание пролетарского интернационализма: души и сердца марксизма-ленинизма, вашей родины и вашей молодежи.

Антар Судан Катара Мбери
7. VI. 77, Нью-Йорк



Слова, обращенные к читателям «Ровесника», которые вы прочли выше, написал на обложке книги своих стихов Антар Мбери. По нашей просьбе с ним встретился корреспондент ТАСС в Нью-Йорке Владимир Байдашин. Мбери с готовностью согласился написать для журнала очерк, сказав, что заказ (а он профессиональный журналист и писатель) он считает «почетным и ответственным».

Итак, мы хотим представить нового автора «Ровесника»: Антар Судан Катара Мбери, 28 лет, сейчас преподает английский язык и журналистику. Антар Мбери — член ЦК Союза молодых рабочих за освобождение, член Компартии США, Национальный координатор XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Тимми семнадцать лет, в этом году он кончает школу. Тимми спортсмен, бегун на длинные дистанции в школьной легкоатлетической команде. Тимми мечтает поступить в колледж и — совсем уж тайная его мечта — попасть в олимпийскую сборную 1980 года. Поэтому каждое утро он начинает с тренировочной пробежки на пять-шесть миль.

В то зимнее утро, сбегая по лестнице, он не просто дрожит от холода: он — комок дрожи. Ночью опять не топили, домовладе-



Тимми помедлил у дверей: встретил Зафру, пуэрториканку, она ему очень нравится. Они болтают о пустяках, но глаза их говорят больше, чем слова. Вдруг Тимми взглядывает на часы, пора бежать, быстро чмокает Зафру в щеку — увидимся за ленчем.

Тимми идет через холл, хмурится. В холле стоит полисмен. Тимми знает, что в классных комнатах, в туалетах идет бойкая торговля наркотиками. Полисмен тоже об этом знает, но это его не касается: его задача — не давать ученикам собираться группами, «а то они дерзят и не выказывают должного почтения администрации».

Тимми тренируется в гимнастическом зале, голова его занята размышлениями о том, как получить стипендию для обучения в колледже, все равно в каком колледже. Он просто должен получить спортивную стипендию, другого пути нет, потому что дома у него сейчас совсем не сладко. Отца — а он строитель — опять уволили. Пройдут месяцы, а может быть, и год, пока он снова найдет работу. Правда, как только потеплеет, начнется снос сгоревших домов по соседству, но уже известно, что наймут белых рабочих. Нет, он ничего не имеет против белых рабочих, но, может, было бы все-таки справедливее, чтобы для работы в негритянских районах нанимали безработных жителей этих районов, тем более что в белых районах их все равно нанимать не будут? В строительном деле расизм — это та еще проблема.

Тимми перестал приседать, пот стекает по лицу, плечам. Если он сумеет в этом сезоне пробежать милю за четыре с небольшим минуты, его включат в список стипендиатов. Он просто должен пробежать, другого выхода нет. Родители никогда не смогут сами послать в колледж ни его, ни сестер. И раньше было трудно платить за квартиру, удобства, еду, а сейчас цены набирают темп прямо, как ракета Поларис, не угонишься. Единственный путь в колледж для него и других ребят из его школы — через спорт. Сердце у него сжалось — он вспомнил, что ему вчера сказали: ходят слухи, будто школа собирается урезать спортивную программу, в том числе сократить и легкоатлетическую команду, потому что у города много долгов. Если это так — конец его надеждам. Потому что у колледжа всего одна, от силы две полные академические стипендии.

Единственное, что интересовало людей из колледжа, когда они явились в школу, так это кто из студентов может платить за

«ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ВЫЖИТЬ...»

Антар МБЕРИ,
американский писатель —
специально для «Ровесника»

лец объявил, что убавляет отопление в связи с энергетическим кризисом, и ночной холод, кажется Тимми, навсегда застыл в нем.

Тимми шмыгает носом, похоже, начинается насморк. Он даже застонал — вспомнил, что школа тоже наверняка проморожена насквозь. Общая нехватка топлива, что за чушь, да когда это их хозяин топил в доме нормально? И под каким, интересно, предлогом он не топил в прошлом году, в позапрошлом, в позапозапрошлом? Тимми мчится по замусоренным коридорам, где воняет отбросами, кошками, пивом. Тимми старается не дышать, поскорее выскочить на воздух.

Тимми стоит на крыльце, поправляет свитер. Из подъезда выходят два соседа, здороваются, медленно бредут вдоль квартала. До него доносится их разговор: «...миссис Дуглас умерла, замерзла у себя в квартире. Кон Эдисон отключил у нее газ и электричество, потому что она задолжала ему квартплату за два месяца. Она не получала ни пенсии, ни пособия. Потом эта пара в Огайо, они тоже замерзли до смерти. Такой позор, с ума прямо можно сойти. Надо что-то делать с этими коммунальными компаниями. Мало того, что они держат нас черт знает в каких домах, они готовы всех нас просто уморить...»

Тимми обгоняет говорящих, сворачивает за угол — он с ними вполне согласен, злость кипит у него в груди, злость сворачивается в нем в тугой узел. Он увеличивает темп. Бежит вдоль полуразвалившихся домов, вдоль выгоревших домов — обычное дело: дома эти «таинственным» образом сгорают, и владельцы получают страховки, а жильцы остаются без крова. Каждый день газеты напичканы подобными историями. Районы, в которых живут негры и другие национальные меньшинства, похожи на разоренные войной города, на разбомбленные города.

Тимми выходит из автобуса, идет к школе, болтая на ходу с приятелями. У входа — группка молодых негров, пуэрториканцев, белых. Они столпились в кружок: режутся в кости. Облачко марихуанного дыма витает над ними. Буквально в десяти шагах стоят два полисмена.

учебу, кто брал государственные ссуды (таких сразу вычеркнули) и есть ли среди них отличные спортсмены. Наверное, они думают, что мы, цветные, недостаточно умны и недостойны стипендий: «Сынок, тебе надо пойти в училище и приобрести специальность». Вот и все, что тебе скажут, когда поймут, что оплатить счет за обучение тебе не по карману.

«Картина положения молодежи мрачна. Экономическая ситуация и перспективы на будущее для нашего поколения чем дальше, тем хуже... Около 20 процентов всех молодых людей и более 40 процентов молодежи национальных меньшинств официально занесены в списки безработных. Но, насколько нам известно, цифры эти на самом деле гораздо значительнее. Безработица среди негров, пуэрториканцев, выходцев из Азии и американских индейцев достигает приблизительно 50 процентов...

В 1975/76 учебном году средняя плата за обучение в колледже была 2017 долларов. Это значит, что по сравнению с 1973/74 учебным годом плата за обучение возросла более чем на 20 процентов... Это четверть годового дохода средней белой рабочей семьи и половина или даже более половины годового дохода негритянской семьи» (Джеймс Стил, Национальный председатель Союза молодых рабочих за освобождение — СМРО).

Перед школой собралась толпа учащихся и преподавателей. В руках щиты, на которых крупными «сердитыми» буквами написаны лозунги: «Биг Мэк» [1]! Вон отсюда! Верните нам наши школы и наш город!», «Нам нужно образование, а не ракеты!», «Программа на сегодня: полное и равное образование для всех!». Молодой парень сообщил, что встречи со школьным начальством и представителями мэрии не дали почти никаких результатов: должностные лица заявили им, что «они не имеют возможности удовлетворить справедливые и законные требования учащихся».

[1] *«Биг Мэк» — специально созданная корпорация Большого Бизнеса якобы для помощи Нью-Йорку. — Прим. пер.*

По их словам, финансовое положение города таково, что «делить страдания приходится всем, сообща обдумывая плодотворное решение проблемы».

«Кварталы, а в некоторых случаях и целые районы, как в центре города, так и на его окраинах, лишены больниц, клиник, детских садов, парков, театров и других культурных центров. Молодые остаются не только без работы, но и без места, где они могут играть, учиться и вообще развиваться умственно и физически. Для сотен тысяч, может быть, миллионов этих молодых, в основном цветных, общество не выделяет ни места, ни средств для того, чтобы быть молодыми. Они абсолютно лишены права зарабатывать, учиться, жить и любить. Государственно-монополистический капитализм отказывает им в основных человеческих правах. Подворотни, тюрьмы и наркотики все чаще и чаще заменяют им работу, спортплощадку и библиотеку. Это единственная перспектива для них. Эти молодые, в первую очередь, — дети рабочих» (Джеймс Стил).

Стук в дверь. Это Дебра, соседка Тимми: «Ты уже готов ехать в Шомбург, а то давай, я тебе помогу с твоим сочинением про Поля Робсона?» — «Угу, один момент».

Дебра только что окончила колледж и была специалистом по социологии, но специалистом, увы, безработным. В классе она считалась самой умной, получала все существующие дипломы и награды за отличную учебу. Она хотела работать в своем районе — помогать матерям-одиночкам и молодежи. Пока они с Тимми шли, она рассказывала о затруднениях, какие у нее вышли с больницей — Дебра должна вот-вот родить: ей пришлось сходить в Бронкс, где жила ее мать, чтобы договориться в роддоме там, потому что госпиталь Сиденхэм закрыли, а ложиться в Гарлемский госпиталь она отказалась сама: он имел репутацию бойни.

В больнице признали ее медицинскую карту недействительной, и ей пришлось платить огромные деньги частному врачу. У нее отекали лицо и руки. А доктор просто прописывал обычные болеутоляющие таблетки и отсылал ее домой.

«Ну-ка еще раз, как называется твое сочинение?» — повернулась она к Тимми. «Поль Робсон: жить, как он — альтернатива для молодежи в условиях преступности и безработицы». Завернули за угол, перешли улицу, остановились перед входом в библиотеку. На двери табличка: «Закрыто на неопределенное время из-за недостатка фондов на отопление».

«Безработица — не милый дождик, она не падает на всех одинаково. Она в первую очередь обрушивается на бедных, особенно на негров, но сильнее всего она бьет по черной молодежи... Лишить человека права на труд — значит похитить у человека часть его человеческого... Система борьбы с преступностью — полиция, суды, тюрьмы — усложняет и усугубляет проблемы черной молодежи. Корень же этих проблем лежит в расизме, в нищете, которая преследует их всю жизнь... Нищета и расизм растлевают черную молодежь, ставят ее на грань окончательного выталкивания из общества» (Джон Коньерс, конгрессмен от штата Мичиган).

Квартал был озарен красным мигающим светом, завывали полицейские сирены. Тимми и Дебра поспели как раз вовремя, чтобы увидеть, как группу парней — одного из них они знали, его все звали Джуниор, ему восемнадцать лет, — тащили в наручниках к машине. В толпе кто-то сказал: «Вчера вечером они накачались наркотиками и, говорят, напали на какую-то старую леди, избили ее».

Дебра крикнула: «А я хорошо знаю, как они говорили о том, что собираются начать новую жизнь, встречаться с хорошими девушками, играть в районной баскетбольной команде. Да работы только они не нашли, а власти закрыли районный клуб и сами вложили в их молодые и сильные руки наркотики». Толпа гудела: «Верно, так оно все и есть».

В тот же вечер Дебра пила молоко, смотрела по телевизору новости. Вдруг стакан выпал из ее рук: сообщали, что в семь часов вечера белый полицейский убил наповал пятнадцатилетнего черного парнишку. Выстрелил в голову без какой-либо видимой причины. Полицейский арестован не был.

Кажется, парень всего-навсего спросил полицейского, не был ли тот на седьмом этаже, в его квартире. Полицейский ответил: «Да, черт тебя подери!», вытащил из кобуры револьвер и выстрелил парню прямо в лицо. Затем он бросился к полицейской машине, там его напарник спросил, что случилось и почему он застрелил парня, который явно был безоружен. Полицейский не ответил. Негритянские общины пришли в волнение: за шесть месяцев это был уже третий случай. Они требовали прекращения полицейских репрессий и убийств невинных молодых людей.

Дебра сидела ошеломленная и вдруг начала плакать: ее младший брат повесился год назад в камере предварительного заключения. Его арестовали за то, что он прятался ночью в метро.

Внезапно она почувствовала резкую боль в желудке. Голова закружилась. Перед рассветом Дебру отвезли в больницу. Ее осмотрел врач, сделал внутривенный укол. Состояние ухудшалось, и он послал за специалистом.

Через два дня она умерла от острого отравления: тот частный врач неправильно поставил диагноз и прописал не то лекарство. То же произошло в больнице. А в справке о смерти была указана причина: острый сердечный приступ.

Совершенно очевидно, что это было маскировкой уголовно наказуемого дела.

Тимми много месяцев не мог примириться с убийством Дебры — все ведь произошло у него на глазах. Каждый раз, когда он об этом вспоминал, его пронизывала острая боль. Дебра была для него как старшая сестра, она помогала ему правильно увидеть эту страну: страну, стремящуюся уничтожить таких, как он. Вечером того дня, с которого мы начали рассказ, он стоял на углу у станции метро и раздавал листовки, призывающие к пересмотру дела «уилмингтонской десятки»: «Они — молодые жертвы полицейских репрессий, точно такие же, как Ассата Шакур, Анджела Дэвис, Дэлберт Тиббс, «шарлоттская тройка» и десятки других, известных и неизвестных». Листовка требовала от президента Картера, чтобы он вмешался, проследил, чтобы справедливость была восстановлена, чтобы эти десять были отпущены на свободу.

...Вчера перед Белым домом в Вашингтоне состоялась демонстрация, в которой участвовали четыре тысячи человек. Представитель организации «Объединенная церковь Христа» сказал: «На той стороне улицы живет человек, который говорит о свободе и правах человека во всем мире. Мы здесь собрались, чтобы сказать ему следующее: нам надоело слушать о правах человека, а на деле не видеть и частицы этих прав в своей стране». Главный лозунг демонстрации был таким: «Чего мы хотим? — Свободы! — Свободы для кого? — Для «уилмингтонской десятки».

Элизабет Чейвис, мать Бена Чейвиса, сказала собравшимся, что дело «уилмингтонской десятки», сфабрикованное властями штата Северная Каролина при попустительстве правительства США, разрушило десять семей. В связи с тем, что президент постоянно твердит о правах человека, она заявила: «Дела говорят громче слов. В самой Америке надо защищать права человека. Мы, народ, собрались здесь сегодня, мистер президент, чтобы потребовать человеческих прав для этих борцов за свободу». Недавно власти Северной Каролины отказали этим десяти в просьбе пересмотреть дело.

«Эти молодые люди, в первую очередь, сыновья и дети рабочих. Они разъярены и готовы воспламениться, это «социальный динамит», как называют их социологи. Но, организованные и должным образом руководимые, они могут стать важной силой в деле социального прогресса» (Джеймс Стил).

«Если мы хотим выжить, а выжить мы непременно должны, у нас должна быть воля к тому, чтобы стать великими, и желание превзойти трудности... Лучшие из нас должны взять на свои плечи всю ответственность и помочь остальным. Сильнейшие должны восполнить недостатки слабых» (Джесс Джексон, негритянский общественный и политический деятель).

Шло время, и Тимми и Зафра все яснее понимали, чего это стоит — добиваться необходимых перемен в жизни их поколения и их народа, чтобы эта жизнь наполнилась смыслом и пользой. Когда-то Энгельс сказал: «Труд создал человека»; черному конгрессмену Коньерсу это дало возможность сделать вывод: «Лишить человека права на труд — значит похитить у человека часть его человеческого». Теперь Тимми и Зафра это поняли, они поняли, что законы, обеспечивающие неграм гражданские права, теоретически существуют, и надо бороться за то, чтобы правительство гарантировало соблюдение этих прав на деле буквально изо дня в день; прежде всего самых важных прав, таких, как работа, образование, здравоохранение, культура и отдых. Они знали, что сказал однажды Фредерик Дугласс[1]: «Если нет борьбы, то нет и прогресса... Власть не пойдет на уступки, пока у нее их не потребуешь. Она никогда не шла и никогда не пойдет».

Такова картина жизни и борьбы негритянской молодежи в Америке на фоне многочисленных выступлений президента Картера за права человека. Вот поле для размышлений, деятельности и литературного труда. Судьбы молодых американских негров — резюме жизни нашего общества, нашей нации.

Перевела с английского И. ТУМАНСИНА

[1] *Фредерик Дугласс (1817—1895) — известный борец за свободу негров. — Прим. пер.*



Рис. А. Бабановского

ЧИСТАЯ, БЕЛАЯ, СНЕЖНАЯ ПЕЛЕНА

РАССКАЗ

Джойс Кэрол ОУТС,
американская писательница

Не так давно лучший помощник шерифа округа Иден, Рейф Мэрри, вступил — как он объявил шерифу, и своей жене, и взрослым сыновьям, и объявлял каждому, с кем бы ни встретился за этот месяц, белому ли, негру ли — во второй период своей жизни, новый период; он говорил об этом загадочно, неторопливо причмокивая губами. Ему было тридцать восемь, когда произошла эта самая история с Бертль'мом Эром, тридцать восемь, говорил он, да в придачу еще два взрослых сына; но только в тот день у него по-настоящему и открылись глаза; будто он заново родился; тот

день навсегда врезался в его память. Когда, наконец, долгая зима прошла и дороги расползлись под солнцем грязной жижей, воспоминания о негре Бертль'ме, да и сам он исчезли из округа Иден к всеобщему облегчению, в особенности к облегчению жены, — исчезли и из памяти Мэрри. Но вплоть до этого времени, в те тягостные, серые, пропитанные туманом дни, он ясно помнил, как это было; и воспоминания о том чистом, неистовом снеге и о полученном уроке возвращались к нему вновь и вновь.

Его вместе с негром Бертль'мом, которого он арестовал в поле, застал снежный буран. Мэрри вез его к шерифу и, крутя руль, бормотал, что никогда еще не видал такой бури; всякий раз он взрывался коротким, резким, почти жалостливым потоком ругательств — снежный буран за окном все усиливался. Мэрри был высокий, солидный мужчина, с глазами слегка навыкате, будто бы от ярости, и теперь он следил ими через ветровое стекло за белым вихрем, а негр молча сидел рядом, дрожа от холода, с полуприкрытыми, ничего не выражающими глазами. Мэрри казалось, что никогда еще погода не играла так с человеком, да к тому же в родных местах; и еще ему показалось, хотя он тут же прогнал эту мысль, что он заблудился и никогда уже не найдет обратного пути.

Там, у шерифа, должно быть, ждут его: теплые окна запотели, люди сидят вокруг печки с протянутыми к огню ногами, курят и, конечно, говорят о нем — о том, как ему удивительно не повезло, ему, Мэрри, лучшему помощнику, ближайшему человеку шерифа, настолько опытному, что он смог взять Бертль'ма Эра. Подумав об этом, Мэрри поморщился и тут же представил себе, каким они видят его: широкие, надменные плечи, большие руки, но не как у простого фермера, простого деревенского фермера; фетровая шляпа плотно сидит на голове, лента подкладки туго охватывает лоб, словно приросла к нему, а сама черная фетровая шляпа будто какой символ или как перевернутый горшок на голове. И лицо его под шляпой — широкое, загорелое, кажущееся грубым, горящее от декабрьского ветра, глаза моргают и щурятся, как будто их что-то слепит. На нем шинель, широкая, как попона, задубелая, словно из дерева или железа, всегда застегнута, будто он на ветру или только что из-под ветра; кожаные перчатки, мягкие, сияющие, как новые; ботинки тускло блестят от крема или от снега; он протянул бы их к печке, медленно, доверчиво, сначала левую ногу, потом правую, прижав подбородок к груди или опустив его на огромную шинель, колом вставшую над телом. Никто из помощников шерифа не вел себя так, как Мэрри, ни один из этих крестьянских парней не имел такого взгляда, такого голоса, ни один из них не смог бы взять такого преступника, как Бертль'м Эр...

Но здесь, в холодной машине, видение Мэрри исчезло. Он смотрел на снег, бешеный вихрь хлопьев. «Это долго не продлится, — сказал Мэрри. — Просто непредвиденный буран, непредвиденный холод, это ясно».

Приятно было вновь услышать свой голос. Он продолжал: «Когда я еще жил там, севернее, вот там уж были бураны! Бураны так бураны, снегом заваливало окна первого этажа, вот как! В такие снегопады люди умирали, если жили в одиночку...» Он удивился тому, что заговорил об этом. Голос сам повел мысль за собой. Он ждал, что ответит заключенный, но оба сидели в молчании в машине минуты две. Затем Мэрри рассмеялся, резко, невесело и снова услышал свой голос: «Их откопали почти через месяц, — говорил он, — это все были одинокие старики, совсем одинокие, замерзшие в своих домах. Одного нашли в школе, тоже старика; он заснул там, чтобы сэкономить дома дрова. Там его и застиг буран, и он не мог вернуться домой, сжег все, что под руку попадалось — книги, парты, все... Такой был старик, я его помню, он заходил к нам, просил лошадей подковать на лето...» Мэрри удивлялся сам себе, странному звуку своего голоса. Но тут же продолжал: «Вот как бывало. Если человека зимой такое застигнет, когда он один, так и будет — раньше или позже, тут ли, там — все равно. Человеку нужно быть с людьми, подчиняться их законам, делать все вместе, жить вместе — не одному жить своим уставом... Те, кто думает иначе, погибают — или же мы берем их, чтобы...»

Он замолчал и ехал некоторое время молча под влиянием своих слов и еще необычного чувства, что смерть старика произошла где-то рядом, будто все это случилось только что, при вот этом буране, что застиг их в пути. Встряхнувшись от этого наваждения, он решил, что пора остановиться. «Переждем-ка этот чертов ветер», — сказал он. А ветер все дул. Впереди отдельными голыми пятнами проглядывала дорога, как будто ее с каждой стороны вырывали из-под сугробов. «Подождем», — пробормотал Мэрри. Говоря, он не смотрел на арестованного, и сейчас тоже не смотрел. Он понимал, как понимал и арестованный, что разговаривает сам с собой. Но потом он спросил: «Не знаешь, где мы сейчас?» Вопрос повис в воздухе. Мэрри в удивлении оглянулся, словно не он, а негр задал этот вопрос. Но негр Бертль'м просто сидел, такой же большой, как и он, и его распухшее черное лицо было повернуто прямо к Мэрри; и глаза его тоже, маленькие, близко посаженные, такие, подумалось Мэрри, бывают у свиней, смотрели прямо ему в лицо, или, может, были обращены к тем странным словам, которые, если слух Мэрри не изменял, исходили от него. Бертль'м был известный в округе негр, его хорошо знали все те, кто жил у дороги; он нанимался на летние работы — сенокос и прочее. Он глядел сейчас на Мэрри не как негр Бертль'м, а будто это был кто-то другой, чья-то статуя, застывшая, холодная, вечная, будто он столетиями именно так и смотрел па Мэрри или па ему подобного своими маленькими глазками. Потом его разобрал кашель, и он даже не потрудился отвернуться и кашлял отрывисто, угрожающе.

«Да ты не знаешь, где тебе, — сказал Мэрри. Он почувствовал, как напряглись его холодные щеки. — Давай, давай, выхаркивай свои чертовы потроха, свои черные гланды, давай!» Мэрри смотрел на буран, и лицо его напряглось в усилии вглядеться, что там впереди. «Там — там что-то виднеется», — сказал он. Арестованный перестал кашлять. Мэрри медленно толкал машину вперед. Край земли слева, казалось, взлетал вверх прямо из недр, гигантское белое облако, как снежный склон горы. «Тут где-то есть гараж. Черт меня дери, если его здесь нет... Я его знаю, видел не раз». Он выплевывал слова, будто был уверен, что гараж появится вместе с ними, будто сами слова могли заставить гараж появиться. «Он должен быть где-то здесь, — сказал он уже спокойней. — Здесь где-то». Он остановил машину, или дал ей остановиться, или позволил ветру ее остановить. «Я выйду посмотреть, что там. Думаю, там есть какое-то строение». Он выключил зажигание, но свет оставил. Свободно открыл дверцу, но когда первый же порыв ветра ударил в лицо, он взвыл от неожиданности и оглянулся на Бертль'ма. Негр сидел и смотрел прямо на него.

Теперь снег чуть ли не забавлял Мэрри: с несокрушимым видом, напрягая все силы, он сперва пробивался в одну сторону, потом останавливался, словно что-то задумав, и поворачивал в другую, и уже шагал так, будто увидел что-то впереди. И когда, наконец, он понял, что действительно видит перед собой две тени, продолговатые и длинные, с вытянутыми по бокам узкими сугробами — как крылья ангелов, — он только и мог что в растерянности смотреть на них. Потом он увидел за ними неясное мерцание огня, становившегося все ясней, по мере того как он вглядывался, заслоняя большое лицо руками.

Помогая Бертль'му выйти из машины и подойти к дому, который он только что обнаружил, Мэрри пришлось крепко обхватить его руками, чтобы тот не упал — под ногами был просто каток — и какое-то время стоять, раздвинув ноги, напрягая их: арестованный, со связанными за спиной руками, не мог помочь себе. Мэрри крепко обхватил его за плечи, и вот так, тяжело дыша, опустив головы, с заснеженными лбами, будто два сопящих бензонасоса, шли они, пробивая себе путь к маленькому, немому приюту перед гаражом. Мэрри забарабанил в дверь ногой. Он наклонился, чтобы посмотреть в дверное стекло, и, кроме своего смутного отражения, увидел двух мужчин в глубине гаража, печку и какую-то лампу. Бормоча себе под нос от нетерпения, он увидел, как один из мужчин медленно, нерешительно идет к двери.

Когда дверь отворилась, Мэрри подтолкнул Бертль'ма внутрь и потом вошел сам в волну теплого воздуха и тут увидел нечто такое, что могло ошеломить человека в его положении, но вместе с тем это не было такой уж неожиданностью для Мэрри, так хорошо знавшего свой округ. Человек в спецодежде, открывший дверь, человек в необычно свежей рубашке в черную и красную клетку был негром. В глубине помещения стоял еще один негр, глядя на них глазами кролика или бурундука, или еще какого-нибудь мелкого зверька, который уверен, что маскировка и листья делают его невидимым, и потому напускает на себя глуповатый вид. Мэрри, который еще не совсем оправился после борьбы с бураном, обернулся, чтобы закрыть дверь; мгновение он смотрел на заиндевевшее стекло, и ощущение своей изолированности среди этих людей поднялось и притаилось где-то внутри, внушая легкую слабость.

Первый негр смотрел на него и мимо, на Бертль'ма, и по его взгляду было видно, что он узнал арестованного, но не хочет этого показывать. «Можете зайти, — медленно проговорил негр. — Там у печки... обогрейтесь, я... я немного испугался, когда постучали». В глубине гаража было теплее. Другой негр, по-

моложе, следил за ними. Он сидел на вращающемся стуле перед большим допотопным конторским столом, изрезанным ножом.

«Спасибо вам», — сказал Мэрри, не слишком вежливо поклонившись. Ему вдруг стало странно жарко. Тогда, будто выставляясь перед этими людьми, которых, ему казалось, он вроде бы знал, но вместе с тем вовсе не для них, а для собственного удовольствия, Мэрри начал медленно расстегивать шинель. Сняв одну кожаную перчатку, он сунул ее в карман, а потом одной рукой в перчатке, другой без перчатки стал расстегивать большие пластмассовые пуговицы шинели, нахмурив лоб, с лицом напряженным от внутренней работы. Негры не сводили с него глаз. Освободив последнюю пуговицу из петли, он вздохнул, выпрямил плечи и сделал такое движение — даже сам Мэрри не смог бы объяснить, как он это сделал, — что старший негр встал и подошел забрать у него шинель. Мэрри смотрел, как он бережно нес ее в руках и вешал на крючок, столь же осторожно стряхнув с нее снег, будто знал, что за ним внимательно следят. Мэрри взялся правой рукой за красный шерстяной шарф, который ему связала мать в ту первую зиму, когда он стал помощником шерифа, и все так же неторопливо начал разматывать его под взглядами остальных. Шарф он тоже отдал негру, и тот повесил его рядом с шинелью. Мэрри уже собрался было снять шляпу, но лишь дотронулся до нее: почему-то ему вдруг показалось, что лучше ее не снимать, хотя она и промокла. Затем он медленно повернулся к Бертль'му и на виду у всех начал стряхивать с него снег. «Стань у печки», — сказал он. Бертль'м, почти не глядя, повернулся к огню. Мэрри похлопал по плечу Бертль'ма и развязал ему руки, и тут он увидел, что веревка врезалась негру в тело и на коже остались красные рубцы. «Гляди-ка, — сказал с раздражением Мэрри. — Хоть бы сказал, что туго».

Он смело взглянул на двоих негров, как будто они имели ко всему этому какое-то отношение. Они не сводили с него глаз, разглядывая его форму. Вероятно, оба они до стука сидели за столом по обе стороны от выдвинутого ящика с положенным на него листом плотного картона и играли в карты; несколько карт сейчас лежало в ящике, их смахнули, как только отворилась дверь. Истертые пальцами, лоснящиеся, как у пьяниц, атласные лица королей, дам и валетов лениво смотрели на Мэрри. «Можно бы предложить им кофе, — сказал молодой негр. — Больно холодно»

У Мэрри потекли слюнки. Однако никто не двинулся с места, и он вовремя спохватился, чтобы скрыть свое смущение. Старший негр стоя тыкал в стол отверткой, как видно, считая, что производит впечатление занятого человека. Наконец он сказал: «Если что с машиной, мы помочь не сможем. Не разбираемся в этих новых. Заливаем бензин, и все».

«С машиной все в порядке», — сказал Мэрри.

«Вам повезло», — сказал другой негр. Он и тот, что постарше, — Мэрри предположил, что они братья, — коротко рассмеялись. Молодой откинулся на спинку вращающегося стула. Он вынул из кармана пачку сигарет. «А вот этому приятелю не повезло, — и оба они опять рассмеялись. — Да-а. Может, свяжете и нас вместе с ним, а?»

Мэрри увидел, что все еще держит веревку. Он пожал плечами и кинул ее на пол. Братья одинаково осклабились. Бертль'м стоял у печки с вытянутыми руками, словно стремясь обнять тепло, глаза его смотрели мимо. «А то мы слегка струхнули», — сказал молодой негр. Он закурил. Его движения были медленны и уверенны. Так же неторопливо он поднялся на ноги. «Эй, парень! Тебе бы тоже неплохо закурить. — Он ухмыльнулся в сторону Мэрри, обнажив зубы, но пачку протянул Бертль'му. Мэрри, внимательно следивший краешком глаза, видел, как пальцы арестованного взяли сигарету. — А за что это его арестовали? — спросил молодой негр. — Может, кого из белых тронул?»

Казалось, шея молодого раздулась, когда он опять сел, нарочито откинувшись на спинку своего стула; теперь начал улыбаться его брат. Встревоженный, Мэрри почувствовал, что они не только внешне похожи, у них даже одно и то же выражение лица: один и тот же хитрый, проницательный, провоцирующий взгляд. Младший курил. «Может, нельзя говорить! — сказал он. Мэрри моргнул. — Понятно, мы можем впустить вас, дать, что попросите, но вовсе необязательно с нами разговаривать. И всетаки мне сдается: мы знаем, что он натворил. Этот вот Бертль'м Эр, о нем только все и болтают... Он никогда первым не выходит из драки. Так?»

Мэрри взглянул на арестованного, стоявшего с опущенными глазами, будто тот услышал что-то запрещенное. Его лицо, однако, словно оттаивало. «Что ему будет?» — спросил старший.

Мэрри насупился: «Закон решит», — сказал он.

«А все-таки?»

Мэрри смотрел на них. Братья одинаково встретили его взгляд, без напряжения, как пародию на него самого, как негативное изображение, выставляющее его в смешном виде.

«Все-таки везти человека туда, где ему что-то будет, и не знать наверняка, что — это не дело, — серьезно сказал молодой. — Эй, Бертль'м! Как ты думаешь, это дело? Брать человека, когда его могут убить...»

«Полегче», — сказал Мэрри. И его голос прозвучал совсем холодно. Но что особенно поразило его — что бы он ни почувствовал, какую бы тревогу ни испытал, она была не за себя, а за Бертль'ма. Его реакция, должно быть, прозвучала приятной неожиданностью для молодого негра, который теперь сидел, развалившись на стуле, с сигаретой в зубах. «Ваш шериф Уолпол меня прекрасно знает, может, он зайдет сюда сам и расскажет кой-чего, — сказал он. — Может, он мне расскажет про Бертль'ма. Уж конечно, я не спешу поменяться с ним местами».

Мэрри из-за могучей спины арестованного кинул взгляд на братьев. Они придвинулись друг к другу: старший стоя облокотился на стол, младший медленно выпрямился на крутящемся стуле. Он тщательно стряхнул пепел на бетонный пол. «Это не просто, обсуждать живого человека, который скоро помрет, — сказал он важно, как будто выступал с речью. — Вот и эта в нем кровь, которая сейчас течет, ведь надо же, надо же, станет ледяной и затвердеет, как сало на холоде. Как же быстро человек из живого становится мертвым! Не только черный, белый тоже и всякий другой. Ведь так? Вот, например, такая штука, как эта отвертка, которой крутят винты, или вот тыкают в стол, или лед соскребают с окон, а если ее прислонить к голове человека, да еще слегка подтолкнуть — любого человека, хоть...»

Краска бросилась Мэрри в лицо, и он ощутил — сперва слегка, потом, как укол булавкой, — как что-то похолодело в сердце. Но когда он заговорил, его слова были не об этом. Они как бы взорвали его изнутри: «Я ведь помог ему, — вдруг сказал он. — Ну да. Я нашел его далеко в открытом поле: он пытался взобраться на пригорок, а под ногами все ползло, это было, когда солнце заходило и уже темнело... И буран начинался... Он бы погиб там».

Молодой негр рассмеялся в ответ: «В одном месте, в другом — какая разница». Оба они тихонько посмеивались: «Эй, Бертль'м! Есть разница?»

Бертль'м не повернул головы. «Он бы все равно заблудился во время бурана, — сказал Мэрри. — Заблудился бы один и замерз. Чего хорошего быть одному? Сам с собой, один со своими мыслями... И так он специально хотел от меня уйти. Никак не могу привыкнуть к этому, — зачем-то сказал он. — Всегда вот так от меня удирают. Вот идиоты, не знают, что это для их же блага, чтобы им помочь! А они только о своем желудке и пекутся, и пяти минут тебя не послушают, когда им объясняешь закон — ну там, оленей не стрелять, окуней не ловить, — а у них глаза все по сторонам бегают, на тебя и не смотрят, на птичку смотрят, на дерево или в небо...»

«Эй, о чем ты? — сказал молодой. — Про что это ты толкуешь?»

Мэрри тяжело дышал. Слова толпились и скакали у него в мозгу.

«Про птичку на дереве», — сказал старший.

«Ага, и про небо. Слыхал, Бертль'м? Думаешь, ты там небо увидишь, а? Там, куда тебя ведут?»

Когда Бертль'м повернулся к ним, всем показалось, что у него на глазах слезы. Две чистые капли стекали с его лица. Но это капал с волос тающий снег; он облизал губы, сплюнул и посмотрел на них. Он держал в руке незакуренную сигарету. «Нечего мне вам говорить», — пробормотал он.

«Нечего? Нет, уж ты скажи! — весело подхватил молодой. — Ты думаешь, зачем тебя взяли? Чтобы ты, Бертль'м, открыл рот, заговорил, чтоб вежливо отвечал на вопросы. Ты видал этого шерифа? Думаешь, ему не о чем спросить тебя? Он со своими тут же возьмет быка за рога, та́к вот и спросит, как же это ты мог шалить своим ножичком, раз это не положено; тебе это не понравится, но ты будешь отвечать ему вежливо».

На лице молодого негра было одновременно загадочное, серьезное и проницательное выражение. «Понял? — он взглянул мимо Мэрри на арестованного. — А потом на твоем процессе не будет никого — ну, может, только жена парня, которого ты резанул, и его дети или там родня, — кто бы не обрадовался тому, что ты сделал: и шериф, и судья, все. Всем это очень понравится». Он нагнулся и посмотрел на Мэрри. «Так, мистер помощник? Скажи ему. Так?»

Мэрри отвернулся; ничего не видя перед собой, он пошел к выходу. «Так! — воскликнул торжествующе мо-

лодой. — Еще бы! И никто не сможет объяснить разницу: то человеку дают умереть своим путем, обычным, одному в снегу, в родных местах, а то его берут, чтобы устроить развлечение из этого — спектакль!» Его слова спотыкались друг о дружку. «Вот, — сказал он громко, — никто мне этого еще не объяснил. И Бертль'му тоже. У него на это просто времени не было. И уж если ты берешь человека, чтоб его казнили, так ты объясни ему, за что...»

Мэрри пытался взять себя в руки. Он смотрел в окно, а рука сжимала пистолет. Но сильнее всех слов он ощущал на себе, на своей спине, взгляд Бертль'ма, и его сердце сжималось от стыда, потому что все смешалось и он не знал, что делать. Лучший помощник, каким он себя считал, лучше их всех, почти как Уолпол... Он представлял себя в этот момент: такой высокий, солидный, шляпа прочно сидит на голове, а лицо серо и бледно, как непропекшееся тесто, — просто насмешка над прежним Мэрри, которого повсюду знали, Мэрри с тяжелым подбородком и добродушным выражением на загорелом, обветренном лице. За окном буран ослабевал и ветер почти прекратился, откуда-то взялась ясная луна, осветившая все вокруг нежным чистейшим белым светом. Было так ясно, так бело, страшно прикоснуться, даже дух захватывало. «Если человека отпустить в такой холод, ему несдобровать, — сказал молодой негр громко. — Он бы пошел себе один, все дальше и дальше, совсем один, и никто бы из белых не вмешивался. Каждый имеет право...»

Мэрри вышел на воздух, прямо к белым сугробам. Перед гаражом земля простиралась в бесконечность, как что-то непонятное, непостижимое. И Мэрри опять почувствовал изолированность, но уже не только свою, но и арестованного, и тех, других негров; и еще он понял, что наступило время, когда надо действовать самому, потому что рядом нет ни шерифа, ни законов.

Когда Мэрри вошел в гараж, его сердце вдруг сильно забилось: Бертль'м стоял, выпрямив плечи, теперь он был выше всех. Он медленно дышал, неторопливо переводя глаза с лица Мэрри куда-то за него, будто для него это одно и то же; руки его все время двигались — он потирал запястья и мял в пальцах сигарету, кроша табак прямо на пол. Братья не пошевелились; они ухмылялись, глядя на Мэрри, улыбки у них были застывшие, выжидающие; молодой негр спокойно продолжал подстрекать: «Так вот, Бертль'м, у тебя, может, сейчас последний шанс. Мы за тебя. Мы не хотим стоять в стороне, когда такое творится — и не будем, это точно, — а этот помощник, как его там, я его не раз видел в машине Уолпола на заднем сиденье, он понимает, чтó ему лучше, он не помешает — нет!» Он высвободил руки: «Беги, Бертль'м, — сказал он. — Беги! Ты человек, и ты имеешь право».

Мэрри ждал. Оба они, арестованный и он, тяжело дышали, почти одновременно их широкие груди вздымались, наполнялись воздухом и опадали; они неподвижно, непоколебимо стояли, выжидая, и глаза их были прикованы друг к другу, будто они подсчитывали, сколько между ними шагов. Но взгляд Бертль'ма был таким непреклонным, таким пристальным, настолько знающим, что правильно, что справедливо, что Мэрри почувствовал, что не может его вынести — этот взгляд пронзал его, как осколок стекла, и он отвел глаза. И теперь монотонный голос молодого негра и даже его слова, которые должны были звучать провокацией для Мэрри, казались тем единственно знакомым, единственно правильным, что он ожидал услышать, почти тем, что должен был сказать сам. «Ты — человек, — говорил молодой негр, — и здесь нет закона, нет его здесь сегодня. Ну где тут закон? Где? Или кто-то из нас лучше других? Всех нас застиг буран, бедствие, кто знает, может, кроме нас, никого не осталось. Какие законы! Какой шериф! Ты сам имеешь право жить, как хочешь. Имеешь право. Имеешь, чтобы...»

Ни Мэрри, ни арестованный не пошевелились. Они, казалось, были загипнотизированы друг другом, как в едином объятье, все вокруг них так напряглось, так давило на уши, что Мэрри показалось, будто через секунду его разорвет, он оглохнет, и мозг его расплющится. И тут ему померещилось: молодой негр, который стоял теперь за спиной Бертль'ма, п о д м и г и в а л, и он подмигивал Мэрри. И действительно, молодой негр стоял, весело кивая, неправдоподобно улыбаясь и подмигивая. Мэрри разинул рот. Он втянул в себя воздух, поглотив его напряжение. «Ты... ты...» — он запнулся. Его пальцы так сильно сжали револьвер, что он не мог их оторвать. «Ты! что это?.. Что, а?..»

Увидя, что Бертль'м сделал движение, молодой негр и его брат расхохотались. Мэрри показалось, что даже зубы у них смеялись, но он чувствовал, что их смех отзывается в нем рыданием, то же — и он это знал — происходило и с Бертль'мом. «Погляди-ка на Бертль'ма! — кричал молодой. Он так трясся от восторга, что подскакивал, точно кукла, руки висели, как плети, плечи раскачивались. — Ты только посмотри! Он думал, что удерет... Никуда он без белого не уйдет — сколько раз можно говорить!»

Бертль'м слегка ссутулился. Лицо напряглось, как маска, взгляд остановился прямо на пристыженном лице Мэрри. «Ну, Бертль'м, ну, — говорил молодой негр, приплясывая вокруг него, — не смотри так свирепо. Я же не виноват, что ты всему веришь».

Мэрри подошел к арестованному и взял его за руку. Он не мог смотреть ему в глаза, он смотрел куда-то ему в воротник и на мокрые волосы, низко спускающиеся по шее. Мэрри стоял так примерно минуту. Потом сказал: «Мы уходим. Буран утих». Ничего не было слышно, кроме медленного, ровного дыхания арестованного и почти бесшумного смеха братьев. «Бертль'м, — сказал Мэрри. — Иди к машине. Садись и жди». Он помолчал, потом снова сказал: «Иди».

Бертль'м повернулся и вышел. Мэрри не смотрел в его сторону, на братьев он тоже не смотрел. Сначала он вообще не знал, куда смотреть, что делать; сейчас он не мог ни о чем думать, кроме того ужасного стыда, который он испытал. Он почувствовал усталость и слабость при одной только мысли об этом. Потом он резко обернулся, расправил плечи, осторожно снял свой красный шарф с крючка и начал обматывать его вокруг шеи. Он одевался не спеша. Молодой негр продолжал свое, теперь уже погромче: «Этот Бертль'м — это фигура, уж такая фигура, я его давно знаю. Это такая здесь фигура. Ого!»

Мэрри застегнул последнюю пуговицу. Он не спешил. Он сосредоточился на себе; он сосредоточился на натягивании перчаток. Одевшись и приготовившись выйти, он вдруг почувствовал, что не все еще как надо, не все еще закончено, но не мог понять, что: голова гудела и была переполнена. «А вы расскажете шерифу? — говорил молодой. — Расскажете? Расскажите ему! — Внезапно смех сошел с его лица. — Господин помощник, обождите... Обождите минутку!» Мэрри смотрел на него. И тут он заметил веревку на полу; медленно наклонился, поднял ее и положил в карман. Потом направился к двери. Молодой негр семенил за ним. Он схватил Мэрри за руку: «Мистер, — сказал он. — Скажите шерифу, что я здесь сделал. Скажите ему. И как вы правильно угадали игру и тоже подыгрывали. Скажите ему. Ему это понравится. Это точно. Я его знаю, иногда он заезжает сюда... Он здесь покупает бензин...» Мэрри смотрел на этого человека. «Тот черный парень стóит не больше всякого другого. Пусть и ему достанется. Чем он лучше? — молодой негр говорил быстро и иногда выкрикивал слова. — Каждому из нас доставалось, — сказал он гордо, — тут все белые об этом знают... Вот так. Пусть и ему, и ему, пусть и ему будет тоже...»

Он улыбался, слегка тряся головой, когда Мэрри открыл дверь и волна холодного воздуха ударила в них. Мэрри шагнул на крыльцо. «Погодите, погодите! — сказал молодой негр, продолжая тянуть его за руку. — Погодите, мистер! Вы ведь скажете шерифу, да? Да? Скажете? Скажете, как я сделал, — он посмеется, — скажите, что это я, вот здесь, в этом гараже... Он меня хорошо знает. Ну-ка гляньте сюда, мистер», — сказал он, и не успел Мэрри отвернуться, как он задрал штанину до колена, и Мэрри увидел странные пестрые шрамы. «Однажды на меня натравили собак, спустили их на меня там, у ручья, просто так, для развлечения; мне еще не было пятнадцати; они долго бежали за мной, я от них, а они хватали меня за ноги, и кто-то сказал шерифу, и он приехал посмотреть, и он был очень огорчен, но уже ничего нельзя было поделать... Я ведь никогда первым не пырял человека ножом, разве это не так? Но мне все равно досталось. Я даже и не раздумывал много над этим. Потому и тот черный тоже не лучше... Скажите шерифу. Он вспомнит меня, вспомнит...»

Мэрри молча сидел, отдыхая, опустив руки на руль, глядя в окно на белый мир — туда же смотрел и Бертль'м, не проронив ни слова, — и Мэрри почувствовал, что жаркий прилив стыда только сейчас начинает отходить. То был необычный, нарастающий стыд грешника; он распространился на них всех. Мэрри увидел, что восхитительно белая пелена бурана и его непонятная, дикая сила — все улеглось, остались только белые пластичные формы, знакомые очертания, напоминавшие привычный мир, куда он вернется. А он все сидел за стеклом машины, постукивая по нему замерзшими пальцами, раздумывая, понимая, что его поведение не только не озадачило Бертль'ма, но и вообще как бы его не коснулось. Мэрри думал, что вот еще немного, минута-две, и он продолжит свой путь.

Перевела с английского
О. КИРИЧЕНКО



СТРАХ И НАДЕЖДА

**Франсуа САЛЬВЭН,
французский журналист**

Бывает ли вам страшно? Пугаетесь ли вы прохожего, внезапно остановившейся автомашины или скрипнувшей двери? Боитесь своих мыслей и поэтому вам страшно быть наедине с собой? Боитесь ли стать лишним? Со мной так бывает. Не всегда, конечно. Иногда. Но в последнее время все чаще. Постоянная тревога, неуверенность, ожидание какой-то опасности. Я ловлю себя иногда на том, что облегченно вздыхаю, придя наконец домой и захлопнув дверь. Я замечаю, что иногда вечером в метро с некоторым недоверием наблюдаю в вагоне за пассажирами, особенно если вдруг открываю, что они делают то же самое. А если мне нужно пройти полкилометра по лесу от станции до дома, я ускоряю шаг отнюдь не для хорошего самочувствия, а чтобы убежать от шагов, которые слышу за спиной. Иногда при входе в банк я вздрагиваю от мысли, что могу оказаться заложником опытных или (что гораздо хуже) неопытных грабителей. А когда звонят в дверь, не всегда открываю с готовностью и гостеприимством.

Я уже тридцатилетний мужчина, причем далеко не тщедушный. Но, повторяю, со мной такое случается все чаще и чаще. Правда, пока я не мучаюсь по ночам бессонницей и еще не установил на своей автомашине воющей ловушки от начинающих воров; пока еще не приобрел ни одного из средств самозащиты, которые носят в портфеле или кармане плаща (дубинку, американский кастет, слезоточивую бомбу или что-нибудь в этом роде); пока еще не поставил на своей калитке глазок, и закрывается она на самый обычный замок; еще не записался ни в один из кружков искусства самозащиты, которые сейчас плодятся повсюду; пока не проявлял ни малейшего интереса к проспектам, которые регулярно появляются в моем почтовом ящике, расхваливая сверхнадежные цепи, замки с секретом, бронированные двери и сейфы. Пока я еще не сделал ничего такого и не думаю, что сделаю это завтра, но тем не менее... Я в тревоге — в тревоге за свою безопасность.

Мы, французы, имеем для этого причины. Причины, о которых, кстати, почему-то не принято говорить. Сколько рабочих абсолютно уверены, приходя утром в свой цех или на стройку, что они сегодня целыми и невредимыми вернутся домой? Сколько получающих заработную плату уверены, что они сегодня не получат по почте извещение об увольнении? Сколько семей уверены, открывая дверь, что это не бандит? Сколько из нас уверены, что этим летом удастся поехать в отпуск? Многие ли уверены, что через месяц, через год им будет на что есть, одеваться, будет чем платить за квартиру, за учебу детей?

Когда говорят во Франции о «безопасности», подразумевают убийства, преступления, кражи, похищения людей, крупные или мелкие правонарушения. И наверное, для нашего успокоения — будто действительность слишком бледна — нам показывают тысячу и один телевизионный боевик, изготовленный в США, где только и речи, что об убийцах, наркоманах, мошенниках, ворах.

А между тем для страха есть серьезные основания.

Я испытываю тревогу, когда слышу историю, подобную той, что рассказал мне шестнадцатилетний паренек из пригорода Парижа. «Целый год отец был безработным. Он только об этом и говорил, целыми днями переругивался из-за пустяков с моим старшим братом. Чаще всего виновником скандала был отец. Он завидовал, что у его сына была работа. Однажды он совсем вышел из себя. «Старикам остается лишь подыхать, чтобы уступить место молодым», — кричал он. А брат, в свою очередь, называл отца не иначе, как бездельником. А затем, чтобы избежать скандалов, брат начал возвращаться по вечерам все позже. На субботу и воскресенье он всегда смывался из дому. Тогда-то брат связался с бандой. Немного спустя их поймали на краже старенькой автомашины. Разве он стал бы бродягой, если бы не чувствовал себя лишним дома. Если бы отец оставался для него отцом».

Меня тревожит тот факт, что такие истории стали не так уж редки в стране, насчитывающей более миллиона безработных, половина которых моложе 25 лет. Меня беспокоит растущее число тех, кому не удается сводить концы с концами, а их 16 миллионов — мужчин, женщин, молодых людей, стариков, детей, иммигрантов.

Меня тревожит тот факт, что страх и неуверенность в завтрашнем дне рождают подозрительность.

Меня беспокоит, а не удивляет то, что рассказал мне шестнадцатилетний лицеист Ноэль: «За последнюю неделю меня четыре раза останавливали и допрашивали на пути между Асньером и Нантерром. Причина — мои длинные волосы. Каждый раз внимательно изучали документы, в мотоцикле разглядывали каждую деталь: тормоза, покрышки, фары. У прохожих, наверное, создалось убеждение, что шпики задержали угонщика автомашин». Так создается обстановка недоверия к молодым. Так людей приучают к злоупотреблениям полиции, еще и искусственно внушая им страх. Меня беспокоит излишек полицейских то на бульваре, то в метро, унылый ряд серых полицейских машин или голубых униформ, их болтовня, похлопывание револьверов по бедру, ощетинившиеся ружьями плечи и при малейшем предлоге — обстановка облавы.

И все же... Мой страх проходит, когда я вижу, как братски распахиваются двери, когда мы, активисты коммунистической партии, идем по домам, чтобы побеседовать с людьми. Меня радуют и успокаивают даже самые маленькие объединения по интересам, которые так сплачивают людей, пусть даже на хрупкой основе. Здесь филателисты, там спортсмены. Но еще больше придает мне сил солидарность, объединяющая жителей лестничной площадки, дома, квартала, для помощи тем, кто больше всех пострадал от кризиса. Наше общество, которое пишет красивые лозунги «власть народа, для народа, через народ», на самом деле безжалостная машина, рожденная монополиями для управления жизнью в кредит, хотело бы всех смять, раздавить, затолкать по углам, запугать.

И я рад, что это не всегда удается, что в конечном счете лишь малое число молодых людей, несмотря на тупики кризиса, в которые их заталкивает наше общество, позволяет заманить себя в ловушку преступности и отчаяния. И это вселяет в меня надежду.

Перевела с французского И. ЖУКОВА

МУЗЕИ УКРАДЕННЫХ СОКРОВИЩ

С. АВДЕЕНКО

Его имя Кох-э-нур (по персидски — «гора света»). Его возраст определяют по-разному: одни говорят, что ему 3 тысячи лет, другие дают «всего» около полутора тысяч; история точных сведений не сохранила. Его вес сегодня 106 каратов, первоначальный же, до обработки, — 186 каратов, или 22 грамма. Место его пребывания — Лондон, Тауэр. С его именем связаны романтические и кровавые легенды, бесчисленные жертвы и целая научная историография.

Кох-э-нур по праву считают самым древним и дорогим бриллиантом в мире, самым дорогим украшением короны английского королевского дома. Одна из особенностей Кох-э-нура — его никто и никогда не покупал. С Кох-э-нуром расставались вместе с жизнью.

Долгое время он был собственностью династии Великих Моголов, царствовавшей в Индии. В начале XVIII века персидский шах Надир завоевал Индию, его войска разграбили Дели — и Кох-э-нур поменял владельца. Шах Надир и дал алмазу его нынешнее имя. В 1747 году во время очередного дворцового переворота шах был убит, и алмаз бесследно исчез.

После смерти шаха его огромная империя распалась, и на ее развалинах возникло Афганское государство. Здесь вскоре и был обнаружен Кох-э-нур. Затем алмаз оказался в Пенджабе. В конце XVIII века англичане завоевали Индию. Бриллиант попал в руки Ост-Индской компании, которая в 1850 году подарила Кох-э-нур английской королеве Виктории. Королева Виктория распорядилась огранить алмаз — так он получил свою нынешнюю форму и прописку.

Такова в самом кратком изложении история Кох-э-нура, история, в которой, как считают в Лондоне, можно поставить точку. Мнение это не разделяют, однако, Индия, Иран, Афганистан, Пакистан — все четыре прежних владельца требуют возвращения бриллианта. Справедливы ли притязания четырех стран? Несомненно, если учесть, что бриллиант попал в Англию бесчестным путем; обычным, впрочем, для колониального времени. Но хотя Лондону и трудно отрицать небританское происхождение бриллианта, еще трудней правителям бывшей империи расставаться с захваченными сокровищами, да и с прежними колониальными привычками. Может, поэтому их первый аргумент в юридическом споре был несколько ностальгичен — поскольку-де бриллиант был «подарен» королеве Виктории, а эта королева особенно дорога британскому сердцу, то и лишать страну реликвии было бы кощунственно. Как и следовало ожидать, «королевский аргумент» никого не убедил. Тогда на помощь были призваны юристы, которые обосновали все то же нежелание расставаться с Кох-э-нуром в соответствии с духом современности: поскольку история бриллианта запутана до невероятности и определить, какой из четырех стран-претендентов по праву принадлежит Кох-э-нур, нет никакой возможности, то пусть он остается в Тауэре, где каждый день с 9 до 17 часов всякий желающий может любоваться им вволю. Если же Англия вернет камень какой-либо одной стране, то это-то и станет вопиющей несправедливостью; три других почувствуют себя обделенными и обиженными. Поистине Соломоново решение... И главное, не создан прецедент — если возвращать все сокровища по первому требованию, то что же останется в прославленных английских, да и не только английских (не одна Англия занималась колониальными грабежами), музеях?

Что же касается прецедента... вернемся снова в отдаленные исторические времена. Десять-пятнадцать веков назад на территории нынешней Ганы существовало могущественное государство — Федерация Ашанти. Его жители были известны как искусные мастера, умеющие удивительно обрабатывать золото и бронзу. (Это умение в тех местах сохранилось и по сей день.) Золотые и бронзовые украшения были не только в домах королей и знати, но позднее они были собраны в музее — первом музее в Тропической Африке. Эта сокровищница произведений искусства народов Ашанти и Бенина была создана в конце XVIII века в столице государства Ашанти — Кумаси. Музей в городе Кумаси был открыт для посетителей, которые могли любоваться золотыми масками, церемониальными мечами, золотыми кинжалами с рукоятками, инкрустированными бриллиантами, весами-статуэтками из золота (на них взвешивали золотой песок при расчетах), золотыми и бронзовыми скульптурами, изображающими солдат с копьями, женщин с амфорами на голове, музыкантов с тамтамами и так далее. Все эти произведения искусства отображали в миниатюре быт и нравы могущественного королевства.

Золотые и бронзовые изделия, хранившиеся в музее Кумаси, специалисты считают шедеврами мировой цивилизации и свидетельством высокой культуры, достигнутой народами африканских королевств Ашанти, Бенин и других к моменту столкновения с колонизаторами.

Первые европейцы — португальские купцы — появились в Африке в 1485 году, несколько позднее — англичане и голландцы. Золото и произведения искусства, вскружившие головы завоевателям, стали одной из причин многолетних колониальных войн. Лидерство среди поработителей, огнем и мечом покорявших Африку, к XIX веку захватили англичане.

В отличие от испанских конкистадоров, ценивших только золото в «чистом виде» и уничтожавших все произведения искусства как «языческий хлам», просвещенные империалисты XIX века по достоинству оценили творчество «примитивных племен». В 1874 году Британия решила окончательно подчинить Золотой Берег (нынешняя Гана). Осуществить эту миссию было поручено сэру Гарнету Вулсли, одному из наиболее жестоких и беспощадных генералов той самой королевы Виктории, которую так высоко чтут в Англии. Вулсли понимал, что его главные противники — могущественный народ ашанти и то досадное обстоятельство, что для войны в XIX веке считалось желательным иметь мало-мальски пристойный повод. К этому времени европейская буржуазия выработала удивительную способность оправдывать каждый новый захват территорий в Африке, Азии или Латинской Америке «высокими гуманными мотивами»: каждый раз получалось, что это вовсе и не агрессия, а чистейшая забота о «примитивных племенах», которых для их же пользы следует «приобщить к христианской цивилизации». Иллюстрацией того, как проходило такое «приобщение», и может служить экспедиция английского генерала. Для начала военных действий сэру Вулсли нужно было найти какую-нибудь зацепку, позволившую бы раззвонить на всю Европу о «варварстве и кровожадности» африканцев. Он ее и нашел.

Поводом стало сообщение о том, что ашанти не отпускают пленных европейцев, захваченных в ходе военных действий годом ранее. Вулсли потребовал возвращения пленных и компенсации в 50 тысяч унций золота. Король ашанти

Коки Колфари, сознавая рискованность войны с армией, превосходившей и численностью и вооружением, принял ультиматум. Но Вулсли не хотел мира и выдвинул новые условия, заведомо неприемлемые.

Помимо пленных и золота, он потребовал в качестве заложников мать и сына короля, а также четырех наследников тронов других племен. Получив отказ, Вулсли вторгся на территорию ашанти, овладел городом Кумаси и, захватив сокровища музея и королевского дворца, сжег город. С этого началось «приобщение» ашанти к христианской цивилизации.

Среди наиболее ценных предметов искусства ашанти, вывезенных из Кумаси, были семь золотых масок, литая из золота голова барана, церемониальный меч «Мпомпнсуа», который король носил во время выборов местных вождей или раздачи титулов знати.

Так после «экспедиции 1874 года» сокровища ашанти попали в британские музеи и частные коллекции. В Британском музее выставлены бенинские маски из слоновой кости, там же голова бронзового всадника (часть большой статуи, которая ныне принадлежит одному из швейцарских музеев). Произведения искусства народов ашанти и Бенина сегодня можно также увидеть в музеях Франции, ФРГ, Австрии и Голландии...

Напрасно было бы искать в официальных записях любого музея, выставляющего ныне сокровища африканских народов, правдивую историю их приобретения. Например, из записей в книге Британского музея следует, что золотые маски были отданы империи самими ашанти в качестве военных контрибуций. Такая запись, мягко говоря, весьма неточна, что подтверждают и специалисты по африканской культуре, например, английский профессор Уильям Тордофф. Он, в частности, писал: «Ашанти не могли продать или подарить предметы, имевшие политическое или религиозное значение». Но неприлично же записывать в музейную книгу, что ценнейшие экспонаты были приобретены в результате мародерства солдат сэра Гарнета Вулсли!

Но, может быть, в XIX веке еще не существовало международных законов, запрещавших победителям присваивать сокровища духовной культуры побежденных? Отчего же: прецеденты были. Еще на Венском конгрессе 1815 года державы-победительницы постановили, что все произведения искусства, вывезенные во время наполеоновских кампаний во Францию, должны быть возвращены на родину даже в тех случаях, когда французы получали их по договорам, подписанным императором Наполеоном и побежденным противником. В то время Великобритания устами своего представителя энергичнее всех защищала тезис об уважении к культурному наследию любой страны... Но почва империалистической юрисдикции, как известно, весьма зыбка — вывоз сокровищ при нужде можно трактовать как их спасение.

Времена, однако, изменились, и народы, освободившиеся от колониальной зависимости, не намерены мириться с тем, что их национальные реликвии украшают музеи других стран. Верховный вождь ашанти Отумфуо Опоку Варе II — представитель наиболее многочисленной и влиятельной этнической группы на территории современной Ганы — вполне справедливо заявляет:

— Я требую возвращения награбленного. Если кто-то ворвался в мой дом, начал палить из винтовок и забрал все, что мне принадлежит, то почему он должен пользоваться награбленным как своей собственностью, признавая, что его приобретения не являются, мягко говоря, вполне законными? Почему грабитель может отделаться легким испугом? Мы не намерены бездействовать.

По требованию вождя ашанти Верховный комиссариат Ганы в Лондоне сделал запрос английскому правительству о возвращении сокровищ народа ашанти законному владельцу. Такое официальное требование вызвало тревогу и негодование. «Если мы начнем возвращать все, что в свое время было привезено из колоний, наши музеи через пару же лет опустеют!» — рассуждают те, кто считает себя ценителями предметов культуры. «Как они смеют требовать то, что принадлежит нам по праву завоевателей?» — возмущаются те, кто еще живет представлениями прошлого.

Бурные дискуссии — «отдавать или не отдавать?» — проходили и в парламенте. Ответ африканскому вождю по своей «аргументации» мало чем уступает отказу правительства вернуть Кох-э-нур. Проблема, оказалось, состоит в том, что сокровища разрознены, рассредоточены по различным музеям и культурным учреждениям, на которые согласно закону 1963 года о Британском музее (этот закон дает полную автономию всем музеям, а следовательно, оставляет на усмотрение самих музеев, как наилучшим образом распорядиться тем или иным экспонатом) правительство не имеет никаких средств воздействия. Посему, чтобы заставить музеи расстаться со «своей собственностью», требуется новый «парламентский акт».

Палата лордов все же попыталась сохранить хорошую мину при плохой игре. В знак понимания и доброй воли Англия, заявили лорды, согласна «одолжить» на время Гане часть сокровищ и даже оказать техническое содействие в строительстве музея.

Понимая, что закон, принятый в 1963 году, никогда не будет изменен и что английские музеи не имеют ни малейшего намерения расставаться с бесценными экспонатами, вождь ашанти ответил не без иронии, что он согласен «одолжиться», но не на часть, а на всю коллекцию, и не на время, а навечно. И по сей день вопрос о сокровищах африканских народов не решен.

Год назад на конференции неприсоединившихся стран в Коломбо среди прочих обсуждавшихся проблем был поставлен вопрос и о возвращении бывшим колониям, а ныне суверенным государствам, всех захваченных в свое время культурных ценностей. На конференции было недвусмысленно сказано, что страны Азии, Африки и Латинской Америки, столь долго боровшиеся за освобождение от колониального гнета, ни при каких условиях не согласятся с тем, что государства, в течение веков порабощавшие и угнетавшие целые континенты, будут продолжать с гордостью выставлять в своих музеях бесценные произведения искусства, богатейшие свидетельства африканской, азиатской и южноамериканской культуры, по праву принадлежащие создавшим их народам.

Возможно, эти требования не вызовут энтузиазма у бывших колонизаторов, говорилось на конференции в Шри Ланке, возможно, они напомнят нечто, что хотелось бы забыть странам, называющим себя цивилизованными, но тем не менее все украденное должно быть возвращено законным владельцам и занять место в музеях и культурных учреждениях, создаваемых ныне в развивающихся странах. Настойчиво и решительно требуют возвращения похищенных сокровищ Гана, Нигерия, Индия и Пакистан, Афганистан и Шри Ланка...

Вопрос о возвращении культурных ценностей, присвоенных в результате несправедливых, захватнических войн, сегодня весьма актуален. Достаточно вспомнить, сколько шедевров искусства было вывезено в гитлеровский рейх после захвата фашистами стран Европы. Фашистская Германия грабила даже своих союзников. В Италии, к примеру, лишь недавно с помощью участников Сопротивления, имевшего своих разведчиков в немецких штабах, по добытым копиям приказов о вывозе в Германию произведений искусства удалось установить масштабы грабежа. Но и по сей день еще далеко не все возвращено Италии...

В 1970 году Турция потребовала от американских властей объяснений в связи с тем, что Бостонский музей изящных искусств приобрел, неизвестно каким образом, новую коллекцию древних ювелирных изделий, относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры. Администрации Бостонского музея ничего не оставалось, как воспользоваться фигурой умолчания. Говорить было нечего. Если коллекция куплена не в Турции, а где-то еще, надо назвать страну. Но ведь в наше время почти все государства запрещают продажу без ведома властей предметов, имеющих историческую или культурную ценность...

Осенью 1974 года на конгрессе ЮНЕСКО в Париже была создана комиссия экспертов по определению ценностей, которые должны быть возвращены их законным владельцам. В апреле 1976 года в Венеции были приняты важные решения, которые ЮНЕСКО довела до сведения всех заинтересованных правительств. Однако западноевропейские музеи не спешат расставаться со своими сокровищами.

Сегодня многие прогрессивные деятели культуры не без оснований предлагают следовать примеру Советского Союза и его культурной политики. Достаточно вспомнить, с какой кропотливостью и любовью советские реставраторы возвращали к жизни бессмертные полотна Дрезденской галереи, которые, вернувшись на родину, вновь стали достоянием немецкого народа. Широко известно также, что в 1975 году Советское правительство передало в дар японскому народу хранившиеся у нас картины известного художника XX века Фукуды Хэйхатиро.

Не так давно мировую печать обошло сообщение о передаче Польшей обнаруженных во Вроцлавской библиотеке рукописей произведений Баха народу Германской Демократической Республики.

Расширение международного сотрудничества в области культуры, которое происходит сейчас в мире, предполагает обязательное соблюдение принципов уважения к духовной жизни каждого народа, принципов, несовместимых с еще не забытыми кое-где колониальными привычками.



ВСЕХ ИХ ЗВАЛИ БУРАТИНО

«...и отец Буратино, и мать Буратино, и дети тоже были Буратино...» Вспомнили? А задавали ли вы себе вопрос — почему Буратино? Потому что буратто — это грубая ткань, через которую просеивали муку и которой после этого часто обклеивали кукол.

Один из итальянских театров так и называется — «Сито». Он в числе многих участвовал в проходившем недавно в Милане Международном фестивале кукольных театров. «Сито» — театр для взрослых, и режиссер Отелло Сарци ставит совсем не «кукольные» пьесы — Брехта, Лорки, Беккета, Маяковского, Шоу: «Куклы могут выдержать нагрузку самого «трудного» интеллектуального театра».

Мечта, наверное, каждого режиссера — актер, который точнейшим образом будет следовать его указаниям. Ну а кукла из повиновения никогда не выйдет (хотя, как помните, был сказочный прецедент). Поэтому многие современные режиссеры, и не кукольники даже, используют в своих спектаклях «смешанные» труппы. Пример тому — театр американца Питера Шумана «Брэд энд паппит». Были на фестивале театры без привычных ширм — например, французский актер Юбер два часа держал в сильнейшем напряжении зал спектаклем, где он использовал лишь свои десять пальцев и укрепленные на них кукольные головки. Был театр швейцарца Мишеля Полетти, в котором применялись все достижения сценической техники: кино, диапозитивы, звукозапись.

Фестиваль этот ставил своей целью доказать, что куклы — принадлежность не только детского или, напротив, авангардистского театра. Куклы могут все, куклы должны выйти на большую сцену: фото из журнала «Эпока» — Буратино на сцене миланского театра «Ла Скала».

ЧЕЛОВЕК ИЗ ТРАППЕТО

«Данило Дольчи и его помощники, продолжая свою подстрекательскую деятельность, в нарушение законов организовали «забастовку наоборот»...» — гласило судебное постановление. В чем состояло преступление Дольчи?

Данило Дольчи приехал на Сицилию с севера Италии в 1952 году. Приехал в городок Траппето, где пищей крестьян округи были лишь хлеб и оливы, а мясо лишь на рождество; где около 70 процентов были неграмотны, а дети умирали от голода и болезней; где единственным законом был закон мафии, связанной с властями острова и депутатами парламента в столице.

Он начал борьбу с похода по окрестным деревням, с голодовки: он хотел привлечь к катастрофическому положению крестьян Сицилии внимание всей страны и всего мира; он начал с призывов к крестьянам не ждать помощи и действовать самим.

В 1956 году с сотней помощников они начали строить плотину: вода — это главное для крестьянского урожая и самый главный козырь мафии, — за воду убивали, за воду вымогали любые деньги. Работали без оплаты; государство сказало тысячам безработных, что нет средств и нет работы. Они работали, твердя про себя слова четвертого параграфа конституции Италии: все граждане имеют право на труд. Семерых осудили за «забастовку наоборот», остальных разогнали.

Деятельность Данило Дольчи, его книги и статьи получили широкий резонанс. В 1956 году Данило Дольчи был удостоен международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Создано водохранилище, работает центр по борьбе с неграмотностью и помощи крестьянам, образовался сельскохозяйственный кооператив... Но вот уже год сотрудники центра не получают ни гроша... Общественная касса пуста... Государству и в 1977 году все так же не до Сицилии...





КАРТИНКИ С ВЫСТАВОК



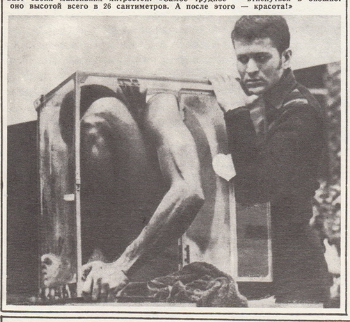
Новый парижский центр искусств Бобур, ставший крупнейшим в мире музеем «современного искусства», одну из первых своих экспозиций посвятил «отцу авангардизма» Марселю Дюшампу. В общем-то это довольно странное и парадоксальное решение: среди прочего Дюшамп известен как ярый противник всех музеев и выставок, мало того — как разрушитель музеев. Дважды ему поручали организацию выставок: в первый раз парижскую выставку 1938 года — там он ярко высветил софитами потолок, оставив в полной темноте картины, во второй раз в Нью-Йорке он с помощью проволоки создал такой лабиринт, что немногим посетителям удалось прорваться к экспонатам.

Известность Дюшамп приобрел еще во второе десятилетие нашего века, когда послал на выставку обычный писсуар, названный «фонтаном», и подставку для бутылок, названную «подставкой для бутылок». (На публикуемой здесь акварели запечатлен «исторический» момент: Дюшамп приобретает на базаре сушку для бутылок. Рядом — фотография произведения современного последователя Дюшампа — стулья под названием «стулья».) Дюшамп в свое время успешно отбил все «злобные» нападки: «Произведение искусства для того, чтобы оно имело музейную, то есть денежную ценность, должно обладать двумя качествами: быть оригинальным, то есть авторским, и быть уникальным. Пожалуйста — я подписываю этот писсуар». — «Но как же остальные подставки, что продаются до сих пор на базаре?» — «О, это жалкие подделки», — отвечал Дюшамп.

Современный критик Марсель Мосс сформулировал определение того, что́ есть произведение искусства — «то́, что признается таковым какой-то группой». А еще точнее — «то́, что потребляется рынком в качестве искусства».

НЕ КАНТОВАТЬ: РЕКОРДСМЕН!

Среди славных героев «II Международного фестиваля необычных (точнее, нелепых) рекордов», недавно закончившегося в Париже, особых аплодисментов заслужил некий Ги Кудо. Этот антилец весьма приличного роста (180 сантиметров) сумел упаковаться в стеклянный ящик 51×41×43 сантиметра, где и просидел шесть часов кряду. Рекордсмен по самоупаковке не скрывает своих маленьких хитростей: «Самое трудное — втиснуться в окошко: оно высотой всего в 26 сантиметров. А после этого — красота!»





ПУСТЫНЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

С каждым годом Сахара становится все многолюдней. Расширяются нефтепромыслы, растут перевозки между Северной и Тропической Африкой. Великая пустыня привлекает многих туристов: для них поездка через пески к сахарским оазисам остается грандиозным приключением, полным опасностей. Слов нет, опасностей в Сахаре хватает. Но в последнее время моторизованные путешественники сами превращаются в опасность... для верблюдов. Пришлось даже оборудовать маршруты караванов дорожными указателями с изображением «кораблей пустыни». Караванщики-туареги считают, что этого мало. Хорошо бы ввести в Сахаре ограничение скорости, говорят они, и как следует штрафовать нарушителей.

А ЧТО ПИШУТ НАМ?

Дорогие друзья из «Ровесника»!

Вы спрашивали, над чем я сейчас работаю? Снимаю новый фильм на киностудии ДЕФА, он называется «Эль Кантор» — «Певец». Это самая трудная работа в моей жизни, потому что я — и режиссер, и сценарист, и к тому же играю главную роль — роль чилийского певца, моего друга Виктора Хары. Я надеюсь, что фильм станет вкладом в кампанию солидарности с чилийскими демократами.

Благодарю вас за дружбу и теплые пожелания,

ваш друг Дин Рид.



ПУТЕШЕСТВИЯ. Как сообщает американский журнал «Ридерс дайджест», Филлис Фогден — судомойка кафе из города Блэкпула, Великобритания, летом каждую ночь проводит в дороге, в вагонах электричек, и объезжает таким образом всю Северную Англию. Она покупает недельный билет, дающий ей право ездить неограниченное число раз по всем дорогам на севере страны, и каждый вечер, после окончания работы, садится на поезд 20.40 и отправляется из Блэкпула в Престон, на восток, там пересаживается на поезд 21.52, следующий на север в Карлайн, далее: Уиган, Барроу-ин-Фёрнесс, вновь Престон, а оттуда возвращается в Блэкпул, чтобы в 11.00 приступить к работе. На вопрос: почему она так пристрастилась к ночным путешествиям, двадцатилетняя мисс Фогден отвечает, что путешествия для нее — не роскошь, а средство существования: так дешевле, чем снимать комнату.



ПРЕДВАРЯЯ НЕКРОЛОГИ

Каждый американец, пожелавший убивать африканцев в ЮАР или Родезии, может без труда это сделать: достаточно открыть журнал «Солдат фортуны» и выписать адреса организаций, которые отправят его в Африку. Ибо «Солдат фортуны» — журнал для наемников. На фото — реклама вооружения, также регулярно помещаемая в журнале. Единственное, чего не публикует «Солдат фортуны», — некрологи.

ОЧЕРЕДНАЯ ВОЙНА, КОФЕЙНАЯ

С 1973 года цена за чашечку кофе, выпитого в итальянском баре, выросла со ста лир до двухсот. «Вздорожали оптовые цены!» — пожимая плечами, объясняют хозяева баров. И это верно.

Представители посреднических фирм, закупающих кофе в странах-производительницах и продающих его (естественно, с надбавкой) странам-потребительницам, пожимали плечами: цены повысились из-за неурожаев, засухи, поразившей Бразилию, Колумбию, Эфиопию; из-за землетрясения в Гватемале и войны в Анголе. И это тоже было верно.

Страны-производительницы, в свою очередь, не пожимали плечами; они обвиняли: в 1960 году налог на импорт кофе в страны «Общего рынка» из Латинской Америки равнялся 700 миллионам долларов, доход же едва достигал 600 миллионов. Налог на ввоз кофе в такие страны, как Италия, ФРГ, равнялся 150 процентам от его номинальной стоимости. В 1967 году Колумбия за один трактор платила 350, в то время как пятнадцать лет назад — 70 мешков (в одном мешке 60 кг кофе).

Короче говоря, монополии, контролирующие продажу кофе, наживались как на странах-производительницах, так и на потребителях. И это было и есть истиной, не нуждающейся ни в каких коррекциях, кроме разве одной. Вызвав нехватку кофе и взбив на него цену, те же монополии создали его огромные запасы. Известно, что только в январе склады портового города Триеста, крупнейшей в Европе кофейной биржи, приняли на 40 процентов больше ежемесячной нормы поставок.





ВЫ СПРАШИВАЛИ

В этом номере мы рассказываем о двух музыкальных ансамблях, чья история начиналась в 1969 году. Совпадение года рождения групп — случайное, как, впрочем, случайно и сопоставление этих ансамблей. Рубрика называется «Вы спрашивали», вот мы и отобрали по письмам читателей самые «спрашиваемые» на данный момент имена: английский «Слэйд» и группу из ГДР «Пудис».

«ПУДИС» ПОЛУЧАЕТ ПРЕМИЮ

Не ройтесь в немецко-русских словарях, не ищите слово «Пудис» — нет такого в немецком языке. «Пудис» — это название ансамбля, составленное из первых букв имен его участников. Но опять же вычислить слово «Пудис» по именам нынешних музыкантов тоже невозможно, потому что со временем состав ансамбля изменился, из «старичков», давших ансамблю имя, остались только трое.

Эти трое: органист Петер Мейер, бас-гитарист Харри Еске и вокалист Дитер Хертрампф. Петер — по профессии преподаватель музыки, любит классику, особенно Баха, сочиняет сам. Это он обычно дает интервью от имени ансамбля: «Я в группе по должности мудрец и старейшина». Харри Еске был штукатуром, одновременно учился играть на контрабасе. На нем все административные дела — финансы, ответы на письма. Писем приходит к ним много — около пятисот каждый день. Бывают письма хорошие, бывают плохие. Какие плохие? «Я не сумел достать ваших трех последних пластинок. Прошу выслать их мне вместе с афишами ваших концертов». Харри разъясняет: «Хотя письма получать и приятно, мы же не рекламное агентство, и если бы мы сами печатали свои фотографии, афиши и пластинки и рассылали бы их всем, кто нас об этом просит, нам бы просто некогда было бы заниматься своим делом». А какие письма «Пудис» любит? «Дорогие друзья! Нам очень нравятся ваши песни, потому что слова и музыка в них очень подходят друг к другу. Слова правдивы и доходчивы, а музыка мелодична. А вот ваше выступление в последней телепрограмме, честно говоря, нас не порадовало, потому что...»

Третий «старичок» — Дитер Хертрампф. Он вокалист, а по образованию архитектор. У него золотые руки. Мастерит для группы даже музыкальные инструменты.



СПЕША ВНИЗ

Начиналось все в Вулвергемптоне, а в каком году — вы уже знаете. Начиналось в таком составе:

Нодди Холдер — 19 лет; вокал.
Дэйв Хилл — 17 лет; саксофон, фортепиано, гитара-соло.
Джим Ли — 17 лет; бас-гитара и скрипка.
Дон Пауэлл — 19 лет; ударные.

Начинали, как все, — к тому времени путь для рок-групп был уже проложен. Музыкальное образование было лишь у Джима Ли, но, собственно говоря, для того, чтобы хорошо играть, совсем необязательно иметь диплом об окончании музыкального учебного заведения. Что обязательно, так это уметь играть хорошо. То есть талант обязателен.

Уже было известно, что популярность достигается двумя способами: новаторством в музыке, новаторством в сценическом образе. Новых, собственных идей в музыке они не нашли, зато отыгрались на текстах песен: то есть пели о том же, что и остальные, но на том жаргоне, на котором говорили в рабочих районах родного города, и тексты (потом уже) публиковали в такой дикой орфографии, что прочесть их даже настоящему англичанину нелегко. Критики — а они группу никогда не любили, считали подражательной, что, впрочем, верно — и рецензии на их выступления из ехидства стали писать в той же орфографии; причем обвинять их в «антипролетарском снобизме» вряд ли стоит — и «Слэйд» не пролетарии, и рок-музыкальные критики в большинстве своем не аристократы. Но какой-то успех этим методом был все же достигнут: для части 15—16-летней публики «новое» — синоним «хорошего» (к счастью, это возрастная болезнь, но только больных этой болезнью в каждый конкретный момент многовато).

Сценический образ: выбритые наголо, «кожаные», как говорят англичане, головы и отчаянная грубость в поведении: публику они буквально третировали, но ей это нравилось (все по тому же принципу синонимов).

Но играли, в общем-то, неплохо — способности были, играли средний «тяжелый рок», а у Нодди Холдера оказался к тому же весьма интересный, безошибочно узнаваемый голос — такой взвинченный фальцет, и потому на них обратил внимание

Сейчас в «Пудис» два новых музыканта: лидер-гитарист Дитер Бирр (по прежней профессии он шлифовщик-универсал. Музыка большинства песен «Пудис» — его сочинения). Гюнтер Возилус по специальности пекарь: «С удовольствием готовлю для всего нашего музыкального семейства». Надо сказать, на ударных он играет с таким же удовольствием и так же хорошо.

Три года подряд читатели популярного молодежного журнала ГДР «Нойес лебен» называли «Пудис» своей самой любимой группой. Но знаком «Пудис» не только молодежи: «Мы с братом слушаем вашу долгоиграющую пластинку «Рок-н-ролл» каждый день. С вашей помощью мы даже наших родителей убедили, что наша музыка — это тоже музыка. Они теперь за вас».

Популярность — и приятная и тяжелая ноша для артиста. Я пишу «популярность» и ловлю себя на том, что рука готова вывести слово «испортила»... Нет, нет, в нашем случае это не так: «Пудис» популярность не повредила. Сейчас они работают даже больше, чем вначале: популярность надо отрабатывать... Свой первый концерт они дали в городе Фрайберге 19 ноября 1969 года. 154 заявки, поступившие на телевидение после этого первого концерта, свидетельствуют о том, что он был успешным. Появиться на экранах перед тысячами зрителей! Мечты начинали сбываться неправдоподобно быстро. Но появиться перед зрителями и исполнять чужие песни — пусть даже интересные и своеобразные интерпретации лучших песен «Дип Пёрпл», «Урии Гип», других? Надо было показать что-то свое, а такого «своего» не было. И вот тогда началась настоящая работа. Рождалась собственная песня, первая в их репертуаре. «И рождалась в долгом, упорном, будничном труде, спорах, утомительных репетициях. Порыв вдохновения — какая красивая сказка!» — говорит Харри Еске.

«Когда мы начинали, рок-музыки у нас практически не было. Она была целиком подражательной, — добавляет Петер Мейер. — Мы пытались сказать свое слово, пойти по самостоятельному пути. С каждым годом требования наших молодых слушателей все выше, и все больше мы чувствуем свою ответственность, а потому работать становится не легче, а труднее. Но разве не говорит это о том, что в какой-то мере нам этот путь удалось пройти!»

Теперь собственных песен у «Пудис» больше пятидесяти. Теперь музыкальные критики пишут, что стиль группы оригинален и что музыку их можно распознать с первого такта.

Сами же музыканты считают, что настоящий успех пришел к ним с песнями к кинофильму «Легенда про Пауля и Паулу» — «Иди к ней» и «Когда человек живет». После того как пластинка с мелодиями из кинофильма была выпущена западногерманской фирмой «Ханза», группу пригласили на первые большие гастроли по ФРГ.

«Это были самые «страшные» гастроли, — вспоминает Петер Мейер, — хотя к тому времени мы уже не были новичками: выступали в Румынии, Бельгии, Польше, Югославии, Болгарии, ЧССР, Голландии, Западном Берлине, Финляндии. В Великобритании давали концерты вместе с шотландской группой «Середина дороги» [1]. По Советскому Союзу за одну только поездку «налетали» 24 тысячи километров.

Но в ФРГ... В первый же день зал был переполнен: «Что это там коммунисты привезли?» Во второй день зал был переполнен тоже — и в третий и в двадцатый: «Коммунисты привезли хороший рок! А поют-то они по-немецки!» (Как-то в свое время все безоговорочно приняли, что рок — музыка английского языка. И многие группы из ФРГ поют тоже по-английски.)

Западногерманскую публику, привыкшую к обязательной внешней сенсационности рока, мы удивляли еще и своей, как бы сказать, обычностью: «Вы, оказывается, самые обыкновенные и нормальные люди, которые просто занимаются музыкой». Верно, и когда мы начинали, мы весьма походили на всех остальных мальчиков с гитарами. Только не у всех хватает терпения и решимости, отбросив даже лучшие образцы, взяться за свое. И честно сказать себе: не получилось. А слово «получилось» требует еще большего мужества...»

Одна из самых удачных песен «Пудис» — «Впереди свет», написанная специально к X Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Берлине. Много в репертуаре «Пудис» и лирических песен, но чаще всего они обращаются к темам гражданским, актуальным. Это «Песня поколений», «Время жить», «Буревестник» (она написана по мотивам стихотворения А. М. Горького и посвящена 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции), «Икар», «Словно стрела» — в них поется о надеждах и стремлении молодежи всех стран к миру и свободе.

В этом году рок-группе «Пудис» присуждена Государственная премия Германской Демократической Республики в области искусства.

[1] *«Ровесник» писал об этом ансамбле в № 8, 1976. — Примеч. ред.*

И. ПОРУДОМИНСКАЯ

известный менеджер Чес Чендлер (это он когда-то вывел Джими Хендрикса; искусство менеджеров — особое искусство, и о нем, наверное, стоит как-нибудь подробнее поговорить). Чендлер ловко управлял и репертуаром и рекламой группы — он заставил их отказаться от наивно-скандального образа: «Серьезней, серьезней, ребята», отрастить соответствующие времени кудри и — пробовать, пробовать, пробиваться, невзирая на огорчения. И в результате песни «Потому что я люблю тебя» и «Смотри, что ты сделал» (для знающих английский язык даем в качестве примера «новой орфографии» «Слэйд» их названия по-английски: «Coz I Love You» и «Luk Wot You Dun») осенью 1971 года стали «хитами», а в 1972—1974 годах пластинки «Слэйд» живьем», «Подавленный» (по-английски «slayed», и в этом — тоже игра), «Самый слэйдовый» (новое слово — «sladest») и «Слэйд» в пламени» — стали уже регулярно занимать первые места.

Наивно было бы предполагать, что в этом заслуга лишь Чеса Чендлера: и музыканты в процессе работы многому научились. Гастроли приносили им успех: Западная Европа, Япония, Австралия, Новая Зеландия в придачу. Но Чендлера заботил один факт: «Слэйд» не были популярны в Америке, на самом большом в мире музыкальном рынке. Для каждой группы, взявшейся за коммерцию по большому счету, одна сорокапятка в «первой десятке» США стоит больше, чем десять «золотых» альбомов в Австралии.

Несколько коротких американских турне «Слэйд» закончились безрезультатно, и группа решила взять Америку измором. С этой целью квартет в начале 1975 года, оставив на память европейцам свой фильм «В пламени», отбывает в Соединенные Штаты. «В Европе мы достигли всего, что только возможно. Нам стало скучно, нам здесь больше нечего делать», — такой наполеоновской фразой объяснил смену континента Дэйв Хилл.

Американская эпопея «Слэйд» окончилась неудачей. За два с небольшим года непрерывных, изнурительных выступлений группа не смогла добиться даже статуса «возглавляющей концерты», так и оставшись «группой-довеском». Пластинки тоже не пользовались успехом — Джим Ли обвиняет в этом местные фирмы грамзаписи...

А в Англии? Тщетно было бы искать упоминания о «Слэйд» в «Нью Мьюзикл Экспресс». Только в результатах хит-парада за 1976 год в рубрике «Самые-самые» я нашел: «Слэйд» присуждено звание «Самой бесследно исчезнувшей группы 1976 года».

Весной ансамбль вернулся на родину, привезя с собой новый альбом «Что же случилось со «Слэйд»?» Этим грустно-ироничным вопросом-названием «Слэйд» пытается объясниться со своими прежними, повзрослевшими уже на иной музыке, поклонниками и, может быть, обрести новых.

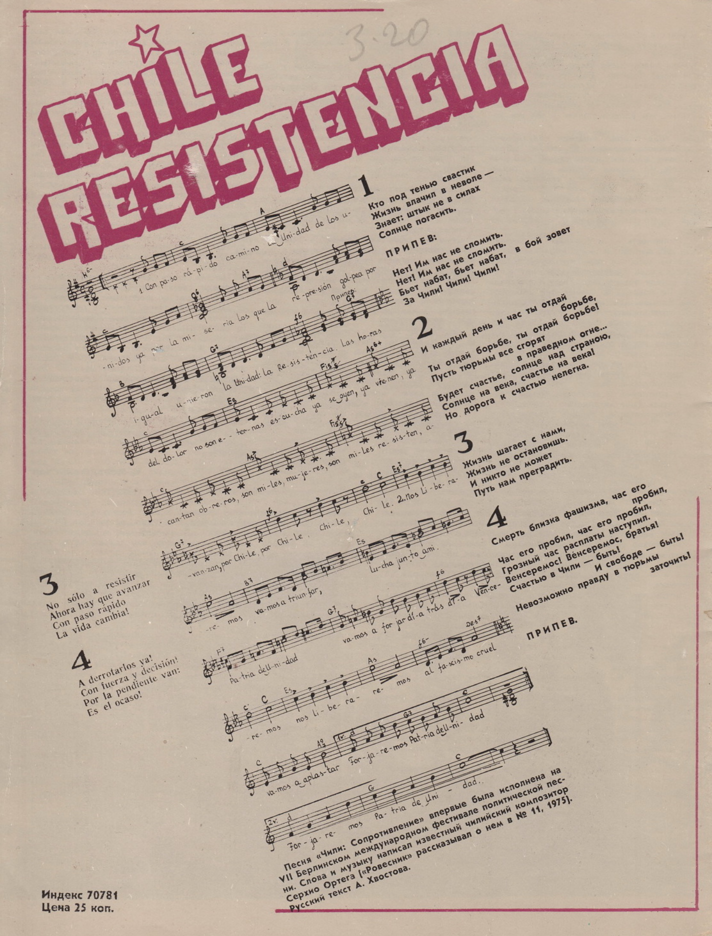
Пока концерты группы не собирают и половины прежней аудитории. Но «Слэйд» не оставляют надежды: в конце концов, изменилась не только публика, изменились и они.

А. ТРОИЦКИЙ

Адрес редакции: Москва, 103104, Спиридоньевский пер., 5. Телефон 290-36-55. Рукописи не возвращаются.
Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на журнал.

Сдано в набор 15/VII 1977 г. Подп. к печ. 19/VIII 1977 г. А05107. Формат 60×90 1/8. Печ. л. 3 (усл. 3). Уч.-изд. л. 5,7. Тираж 470 000 экз. Цена 25 коп. Заказ 1319.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.



CHILE RESISTENCIA

1 Con pa-so rá-pi-do ca-mi-no la Uni-dad de los u-
-ni-dos ya por la mi-se-ria los que la re-pre-sión gol-pea por
i-gu-al u-nie-ron la Uni-dad: La Re-sis-ten-cia. Las ho-ras
Припев.
del do-lor no son e-ter-nas es-cu-cha ya se oyen, ya vie-nen, ya
can-tan ob-re-ros, son mi-les, mu-je-res, son mi-les re-sis-ten, a-
-van-zan, por Chi-le, por Chi-le, Chi-le, Chi-le. 2. Nos li-be-ra-
Lu-cha jun-to a-mi.
-re-mos va-mos a triun-far, va-mos a for-jar dí-a tras dí-a Ven-ce-
Pa-tria del U-ni-dad
-re-mos nos li-be-ra-re-mos al fa-scis-mo cruel
va-mos a a-plas-tar For-ja-re-mos Pat-ria del U-ni-dad
For-ja-re-mos Pa-tria de U-ni-dad.

1
Кто под тенью свастик
Жизнь влачил в неволе —
Знает: штык не в силах
Солнце погасить.

ПРИПЕВ:
Нет! Им нас не сломить.
Нет! Им нас не сломить.
Бьет набат, бьет набат, в бой зовет
За Чили! Чили! Чили!

2
И каждый день и час ты отдай борьбе,
Ты отдай борьбе, ты отдай борьбе!
Пусть тюрьмы все сгорят в праведном огне...
Будет счастье, солнце над страною,
Солнце на века, счастье на века!
Но дорога к счастью нелегка.

3
Жизнь шагает с нами,
Жизнь не остановишь.
И никто не может
Путь нам преградить.

4
Смерть близка фашизма, час его пробил,
Час его пробил, час его пробил,
Грозный час расплаты наступил.
Венсеремос! Венсеремос, братья!
Счастью в Чили — быть! И свободе — быть!
Невозможно правду в тюрьмы заточить!

ПРИПЕВ.

3
No sólo a resistir
Ahora hay que avanzar
Con paso rápido
La vida cambia!

4
A derrotarlos ya!
Con fuerza y decisión!
Por la pendiente van:
Es el ocaso!

Песня «Чили: Сопротивление» впервые была исполнена на VII Берлинском международном фестивале политической песни. Слова и музыку написал известный чилийский композитор Серхио Ортега («Ровесник» рассказывал о нем в № 11, 1975). Русский текст А. Хвостова.

Индекс 70781
Цена 25 коп.